

НОМИНАНТ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ 2016 ГОДА

# ★ МАДЛЕН ТЬЕН ★

НЕ ГОВОРИ,  
ЧТО У НАС  
НИЧЕГО НЕТ

Corpus



Corpus (АСТ)

Мадлен Тьен

**Не говори, что у нас ничего нет**

«Corpus (АСТ)»

2016



УДК 821.111-31(73)  
ББК 84(7Coe)-44

**Тьен М.**

Не говори, что у нас ничего нет / М. Тьен — «Corpus (ACT)»,  
2016 — (Corpus (ACT))

ISBN 978-5-17-982644-6

Рассказ о людях, живших в Китае во времена культурной революции, и об их детях, среди которых оказались и студенты, вышедшие в 1989 году с протестами на площадь Тяньаньмэнь. В центре повествования две молодые женщины Мари Цзян и Ай Мин. Мари уже много лет живет в Ванкувере и пытается воссоздать историю семьи. Вместе с ней читатель узнает, что выпало на долю ее отца, талантливого пианиста Цзян Кая, отца Ай Мин Воробушка и юной скрипачки Чжу Ли, и как их судьбы отразились на жизни следующего поколения.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-982644-6

© Тьен М., 2016

© Corpus (ACT), 2016



# Содержание

Часть первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	69



# Мадлен Тьен

## Не говори, что у нас ничего нет

*Моим родителям, и Кэтрин, и Рави*

Madeleine Thien  
Do Not Say We Have Nothing

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

© Madeleine Thien, 2016  
© М. Моррис, перевод, 2019  
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019  
© ООО «Издательство Аст», 2019  
Издательство CORPUS ®



## Часть первая

*На свете тысяча способов прожить жизнь. А сколько из них знаем мы двое?*

**Чжан Вэй “Старый корабль”**

*Из всех сцен, покрывавших стены пещеры, самыми пышными и затейливыми были изображавшие рай.*

**Колин Таброн “Тень Шелкового пути”**

### 1

За один-единственный год мой отец бросил нас дважды. В первый раз – когда покончил с браком, а во второй – когда покончил с собой. В тот 1989 год моя мать полетела в Гонконг и похоронила отца на кладбище недалеко от китайской границы. Потом, вне себя от горя, она поспешила домой в Ванкувер, где ее в одиночку дожидалась я. Мне было десять лет.

Вот что я помню.

У отца красивое лицо, лишенное примет возраста; он человек добрый, но склонный к меланхолии. Он носит очки без оправы, и кажется, что линзы парят в воздухе прямо перед ним – тончайший из занавесов. Его темно-карие глаза всегда настороже, всегда таят неуверенность; ему всего тридцать девять лет. Отца звали Цзян Кай, и он родился в деревушке под Чанша. Позже, узнав, что в Китае отец был известным концертирующим пианистом, я вспомнила, как постукивали его пальцы по кухонному столу, как они порхали по столешницам – и по мягким рукам матери, до самых кончиков ее пальцев, пока она не заходила от иступления, а я – от радости. Он дал мне и китайское имя – Цзян Лилин – и английское, Мари Цзян. Когда он погиб, я была еще совсем ребенком, и мне не осталось от него ничего, кроме считанных воспоминаний, какими бы разрозненными и неточными они ни были. С ними я не расставалась никогда.

На третьем десятке, в трудные годы после смерти уже обоих моих родителей, я всецело посвятила свою жизнь наблюдению за числами, догадкам, логике и доказательствам – орудиям, которые нам, математикам, перепали не только затем, чтобы осмыслять мир, но и чтобы попросту его описывать. Последние десять лет я преподавала в Университете Саймона Фрейзера в Канаде. Числа позволили мне лавировать меж невообразимо огромным и потрясающе малым; они дали мне возможность вести жизнь вдали от родителей, их дел и несбывшихся мечтаний, и, как думала я, эта жизнь принадлежала мне самой.

Несколько лет тому назад, в 2010-м, я прогуливалась по ванкуверскому чайнатауну и набрела на магазинчик DVD-дисков. Помню, был проливной дождь, и тротуары опустели. Из пары огромных колонок, висевших снаружи магазина, лилась классическая музыка. Я ее узнала – Четвертая соната Баха для фортепиано и скрипки, – и музыка потянула меня к себе ловко, словно за руку. Все стерлось из моей памяти, кроме контрапункта, удерживавшего воедино композитора, музыкантов и даже тишину, кроме музыки – бесконечно вздымающихся волн скорби и экстаза.

Голова у меня закружилась, и я прислонилась к витрине.

И вдруг я очутилась в отцовской машине. Я слышала, как дождь плещет по шинам и как отец напевает себе под нос. Он был такой живой, такой любимый, что невозможность осознать его самоубийство вновь захлестнула меня всей скорбью. К тому моменту мой отец был уже двадцать лет как мертв, и никогда еще я не вспоминала его так ярко. Мне был тридцать один год.



Я зашла в магазин. На плоском экране появился пианист – Гленн Гульд; они с Иегуди Менухиным играли ту самую сонату Баха, о которой я и подумала. Гленн Гульд в темном костюме сгорбился над роялем, вслушиваясь в ритмы, которые большинству из нас познать не дано... и был так знаком мне – как целый забытый язык, как целый забытый мною мир.

В 1989 году жизнь для нас с матерью превратилась в набор обязательных будничных дел: работа и школа, телевизор, еда, сон. Первый уход отца от нас случился одновременно со стремительным развитием событий в Китае – событий, за которыми мать как одержимая следила по CNN. Я спросила, кто эти демонстранты, и она объяснила, что это студенты и обычные люди. Я спросила, нет ли там отца; она сказала: “Нет, это площадь Тяньаньмэнь в Пекине”. Демонстрации, во время которых на улицы вышло больше миллиона китайских граждан, начались в апреле, когда отец еще жил с нами, и продолжились и после того, как его след затерялся в Гонконге. Потом, 4 июня, и еще долго после бойни – днями и неделями – мать плакала навзрыд. Я следила за ней ночь за ночью. Папа отказался от китайского гражданства в семьдесят восьмом – без права возвращения. Но мое непонимание сфокусировалось на том, что я видела: на путаных, пугающих образах людей и танков, и на маме перед экраном.

Тем летом я, словно во сне, продолжала ходить на каллиграфию в культурный центр неподалеку – кистью и тушью строчка за строчкой переписывала китайскую поэзию. Но опознать могла только считанные слова – “большой”, “маленький”, “девочка”, “Луна”, “небо” (#, #, #, #, #). Отец говорил на мандаринском наречии, мать – на кантонском, но я-то сама бегло владела лишь английским. Сперва загадочный китайский язык казался игрой, удовольствием, но затем неспособность его понять стала меня тревожить. Я раз за разом выводила символы, которые не могла прочесть, все крупнее и крупнее, пока однажды избыток туши не пропитал насквозь скверную тонкую бумагу и та не порвалась. Я бросила каллиграфию.

В октябре к нам домой явились двое полицейских. Они сообщили матери, что папы больше нет и что с делом будет разбираться коронерская служба в Гонконге. По их словам, папа покончил с собой. Тогда тишина – *ку* – поселилась в нашем доме на правах третьего человека. Она дремала в шкафу вместе с отцовскими сорочками, брюками и туфлями, оберегала отцовские ноты Бетховена, Прокофьева и Шостаковича, его шляпы, кресло и любимую чашку. Тишина (#) овладела нашими мыслями и бушевала внутри у нас с мамой, словно океан. Той зимой Ванкувер был еще серей и еще дождливей обычного, словно дождь превратился в толстый свитер, который невозможно снять. Я засыпала в полной уверенности, что утром папа разбудит меня, как обычно, что его голос выманит меня из дремы, пока эта иллюзия не присовокупилась к потере и не начала причинять даже большую боль, чем все случившееся до того.

Неделя ползла за неделей, и вот восемьдесят девятый год канул в девяностый. Каждый вечер мы с мамой ужинали на диване, потому что на обеденном столе не осталось места. Отцовские документы – разные сертификаты и налоговые декларации – мы уже разобрали, но оставалась еще всякая всячина. По мере того как мама все тщательней обследовала квартиру, на свет появлялись прочие бумаги – ноты, стопка писем, написанных, но так никогда и не отправленных отцом (“Воробушек, не знаю, дойдет ли до тебя это письмо, но...”), и все новые и новые тетради. Наблюдая, как растет их количество, я воображала, что мама верит: в новом воплощении папа станет листком бумаги. Или, может, она верила, как в древности, что написанные на бумаге слова – обереги, которые могут каким-то образом защитить нас от зла.

Почти каждую ночь мама проводила среди бумаг, так и не сняв офисной одежды.

Я старалась ее не беспокоить: сидела в смежной гостиной, и время от времени я слышала, как мама почти беззвучно переворачивает страницы.

*Ку* мамино дыхание.

Дождь, бьющийся о фасетчатые окна и соскальзывающий со стекол вниз.

Мы завязли во времени.



Снова и снова звенел за окном двадцать девятый троллейбус.

Я выдумывала разговоры. Я пыталась представить себе, как папа возрождается в мире духов, покупает очередную чистую тетрадь, рассчитывается незнакомыми деньгами и ссыпает сдачу в карман нового пальто: легкой накидки из перьев или, может, плаща из верблюжьей шерсти – такого, которому хватит прочности и для рая, и для мира духов.

Тем временем мать пыталась отвлечься поисками отцовской семьи – где бы та ни была, – чтобы сообщить, что давно потерянный сын ли, брат ли, дядюшка ли ушел на тот свет. Она принялась разыскивать приемного отца папы, который когда-то жил в Шанхае и был известен там как “Профессор”. Иных членов своей семьи папа никогда не упоминал. Информация добывалась медленно и болезненно: ни электронной почты, ни интернета тогда не существовало, так что маме несложно было написать – но трудно было получить стоящий ответ. Отец покинул Китай давным-давно, и если Профессор еще не умер, то был уже невероятно стар.

Пекин, который мы видели по телевизору – с моргами и скорбящими, с танками на оцепившихся винтовками перекрестках, на целый мир отстоял от того Пекина, каким его знал отец. И все-таки, думаю я иногда, они не слишком различались.

Спустя несколько месяцев, в марте девяностого года, мама показала мне Книгу записей. В тот вечер она сидела на своем обычном месте за обеденным столом и читала. Тетрадка, которую она держала в руках, была длинная и узкая – с пропорциями миниатюрной двери, не туго прошитая хлопковой нитью орехового цвета.

Мне давно уже пора было спать, как вдруг мама наконец меня заметила.

– Да что с тобой не так! – сказала она.

А потом, словно смущенная собственным вопросом:

– Ты уже сделала уроки? Который час?

Уроки я сделала давным-давно и все это время смотрела ужастик без звука. До сих пор помню: какого-то дядьку там как раз забили ледорубом.

– Полночь, – сказала я.

Дядька оказался мягкий, как тесто, и мне было не по себе.

Мать протянула руку, и я подошла. Она крепко обняла меня за талию.

– Хочешь посмотреть, что я читаю?

Я склонилась над тетрадкой, уставившись на стайку слов. Китайские буквы вились по странице, словно звериные следы на снегу.

– Это книжка, – сказала мама.

– Ой... А про что?

– По-моему, это роман. Там про искателя приключений, которого зовут Да Вэй и который на корабле поплыл в Америку, и про героиню по имени Четвертое Мая, которая пересекает пустыню Гоби...

Я посмотрела еще пристальней, но по-прежнему не могла прочитать ни слова.

– Было время, когда люди целые книги переписывали от руки, – сказала мама. – Русские называли такое “самиздатом”, китайцы... ладно, допустим, никак особенно мы это не называем. Смотри, какая эта тетрадка грязная, на ней даже трава налипла. Кто знает, сколько людей носило ее с собой... Лилин, она ведь на много десятилетий тебя старше.

“А что меня не старше?” – подумала я. И спросила, не папа ли ее переписал.

Мама покачала головой. Она сказала, что почерк дивный, что это работа обученного каллиграфа, а папа писал так себе.

– В этой тетрадке – одна-единственная глава из какой-то длинной книги. Вот тут написано: “Номер семнадцать”. Кто автор, не сказано, но вот смотри, название: “Книга записей”.

Мама отложила тетрадь. Отцовские бумаги на обеденном столе походили на заснеженные горные пики – они нависали над краем, готовые вот-вот обрушиться и сойти лавиной



на ковер. Вся наша почта тоже лежала тут же. С Нового года маме шли письма из Пекина – соболезнования от музыкантов Центральной филармонии, только недавно узнавших о папиной смерти. Мама читала эти письма со словарем, потому что они были написаны на упрощенном китайском, которого она не знала. Моя мать училась в Гонконге и там овладела традиционным китайским письмом. Но в пятидесятых годах на материке, в коммунистическом Китае, было узаконено новое, упрощенное письмо. Тысячи слов стали другими; например, “писать” (*цзэ*) превратилось из # в #, а “узнавать” (*си*) – из # в #. Даже “Коммунистическая партия” (*гун чань дан*) из ### стала ###. Иногда маме удавалось различить прошлую сущность слова, в прочих случаях она гадала. Она говорила, что это все равно что читать письмо из будущего – или говорить с кем-то, кто тебя предал. То, что она вообще редко теперь читала по-китайски и выражала свои мысли в основном по-английски, еще больше усложняло дело. Как я говорю по-кантонски, ей не нравилось, потому что, по ее словам, “произношение у тебя вкривь и вкось”.

– Холодно тут, – прошептала я. – Давай переоденемся в пижамы и пойдем спать.

Мама глядела на тетрадку, даже не притворяясь, что слышит.

– Матушка утром устанет, – настаивала я. – Матушка двадцать раз нажмет на “отложить сигнал”.

Она улыбнулась – но глаза за стеклами очков стали вглядываться во что-то еще пристальней.

– Ступай спать, – сказала она. – Не жди матушку.

Я поцеловала ее в мягкую щеку.

– Что сказал буддист в пиццерии? – спросила она.

– Что?

– “Мне все едино”.

Я расхохоталась, застонала и расхохоталась снова, затем вздрогнула при мысли о жертве телеубийства и его тестообразной коже. Мама с улыбкой, но твердо подтолкнула меня к двери.

Лежа в кровати, я поразмыслила о кое-каких фактах.

Во-первых, о том, что в своем – пятом – классе я превращалась в совершенно другого человека. Я там была такая добренькая, такая уживчивая, такая старательная, что иногда даже думала, что мой мозг с душой существуют по отдельности.

Во-вторых, о том, что в странах победнее людям вроде нас с мамой не было бы так одиноко. По телевизору в бедных странах вечно толпы, а битком набитые лифты поднимаются прямиком к небесам. Люди спят по шестеро в одной кровати, по дюжине в одной комнате. Там всегда можно высказаться вслух и знать, что кто-то тебя да услышит, даже если не хотел. По сути, наказывать людей можно так: вырвать их из круга родных и друзей, изолировать в какой-нибудь холодной стране и расплющить одиночеством.

В-третьих – и это был не столько факт, сколько вопрос: почему наша любовь так мало значила для папы?

Должно быть, я заснула, потому что вдруг проснулась – и увидела, что мама склонилась надо мной и кончиками пальцев гладит меня по лицу. Днем я никогда не плакала – только ночью.

– Не надо, Лилин, – сказала она. Она много чего бормотала.

– Если тебя запрут в комнате и никто не придет тебя спасти, – спросила она, – что ты будешь делать? Придется тебе колотить в стены и бить окна. Придется тебе вылезать и спасаться. Ясно же, Лилин, что слезы не помогают выжить.

– Меня зовут Мари, – завопила я. – Мари!

– Кто ты? – улыбнулась она.

– Я Лилин!



– Ты Девочка, – мама употребила ласковое прозвище, которым называл меня папа, потому что слово # означало и “девочка”, и “дочка”. Папа любил шутить, что у него на родине у бедняков не принято было давать дочерям имена. Мама тогда хлопала его по плечу и говорила по-кантонски: “Хватит забивать ей голову мусором”.

Под защитой маминых объятий я свернулась в клубок и снова заснула.

Позже я проснулась от того, что мама тихонько размышляла вслух и хихикала. Утра той зимой были непроглядно темные, но неожиданный мамин смешок пронесся по комнате, как жужжание обогревателя. Ее кожа хранила запах чистых подушек и сладкий аромат ее османтусового крема.

Когда я шепотом позвала ее по имени, она пробормотала:

– Хи...

И потом:

– Хи-хи...

– Ты на том свете или на этом? – спросила я.

Тогда она очень отчетливо произнесла:

– Он здесь.

– Кто? – я попыталась взглянуть в темноту комнаты.

Я и правда поверила, что он здесь.

– Приемный. Этот хм-м-м. Этот... *Профессор*.

Я крепко стиснула ее пальцы. По ту сторону штор небо меняло цвет. Мне хотелось последовать за мамой в отцовское прошлое – и все же я ему не доверяла. Люди могут пойти за наваждением; могут увидеть нечто столь завораживающее, что и не подумают обернуться. Я боялась, что мама, как прежде отец, забудет, зачем ей возвращаться домой.

Внешняя жизнь – новый учебный год, регулярные контрольные, радости лагеря юных математиков – продолжалась, словно и конца ей не будет, и круговая смена времен года гнала ее вперед. Папины летнее и зимнее пальто все еще ждали за дверью – между его шляпой и туфлями.

В начале декабря из Шанхая пришел толстый конверт, и мама вновь уселась за словарь. Словарь – это небольшая, необычайно толстая книга в твердой бело-зеленой обложке. Страницы просвечивают, пока я их листаю, и, кажется, ничего не весят. То тут, то там мне на глаза попадается пятнышко грязи или кофейное кольцо – след от маминой или, может, от моей собственной чашки. Все слова распределены по корням или, как их еще называют, по ключам. Например, # означает “ворота”, но еще это ключ – то есть строительный материал для прочих слов и понятий. Если сквозь ворота падает свет или солнце #, то получается “пространство” #. Если в воротах – конь #, то это “нападение” #, а если в воротах рот #, то получается “вопрос” #. Если внутри – глаз # и пес #, то получается “тишина” #.

Письмо из Шанхая оказалось длиной в тридцать страниц и было написано очень витиеватым почерком; несколько минут спустя я устала смотреть, как мать над ним бьется. Я ушла в гостиную и принялась разглядывать соседские дома. Во дворе напротив торчала жалкого вида рождественская елка. Впечатление было такое, будто ее попытались задушить мишурой.

Хлестал дождь и выл ветер. Я принесла матери стакан гоголь-моголя.

– Письмо про хорошее?

Мама отложила исписанные листы. Веки у нее набрякли.

– Такого я не ожидала.

Я провела пальцем по конверту и принялась расшифровывать имя отправителя. Оно меня удивило.

– Женщина? – уточнила я, охваченная внезапным страхом.

Мать кивнула.



– У нее к нам просьба, – сказала мама, отобрав у меня конверт и заткнув его под какие-то бумаги.

Я подошла поближе, как будто она была вазой, что вот-вот слетит со стола, но в маминых опухших глазах читалось неожиданное чувство. Утешение? Или, быть может – и к моему изумлению – радость.

– Она просит ей помочь, – продолжила мама.

– А ты прочитаешь мне письмо?

Мама ущипнула себя за переносицу.

– Целиком оно очень уж длинное. Она пишет, что много лет не видела твоего отца. Но когда-то они были все равно что одна семья – слово “семья” она произнесла несколько неуверенно. – Она пишет, что ее муж преподавал твоему отцу композицию в Шанхайской консерватории. Но они потеряли связь. В... трудные годы.

– Что за годы такие?

Я заподозрила, что просьба, в чем бы она ни заключалась, непременно касается долларов или, например, нового холодильника, и что мамой просто попользуются.

– Еще до твоего рождения. Шестидесятые. Когда твой отец еще учился в консерватории, – мама опустила глаза с ничего не выражающим видом. – Она пишет, что в прошлом году он с ними связался. Папа написал ей из Гонконга за несколько дней до смерти.

Во мне поднялся целый вихрь цеплявшихся друг за друга вопросов. Я понимала, что не стоит приставать к маме по мелочам, но, поскольку я всего лишь хотела понять, что происходит, наконец сказала:

– А кто она такая? Как ее зовут?

– Ее фамилия Дэн.

– А имя?

Мама открыла рот, но ничего не сказала. Наконец она посмотрела мне прямо в глаза и произнесла:

– А имя – Лилин.

Такое же, как мое – только написано оно было на упрощенном китайском. Я протянула руку за письмом, и мама твердо накрыла ее своей. Упреждая следующий вопрос, она подалась вперед:

– Эти тридцать страниц все про настоящее, не про прошлое. Дочь Дэн Лилин прилетела в Торонто, но своим паспортом воспользоваться не может. Ей некуда податься, и мы должны ей помочь. Ее дочь... – мама ловко сунула письмо в конверт, – ...ее дочь приедет и немного проживет тут с нами. Понимаешь? Это про настоящее.

Я почувствовала себя так, словно съехала набок и перевернулась вверх тормашками. Зачем чужому человеку с нами жить?

– Ее дочь зовут Ай Мин, – сказала мама, пытаясь вернуть меня к реальности. – Я сейчас позвоню и приглашу ее приехать.

– А мы одного возраста?

Мама, кажется, смутилась.

– Нет, ей, должно быть, не меньше девятнадцати, она учится в университете. Дэн Лилин пишет, что ее дочь... она пишет, что Ай Мин попала в неприятности в Пекине, во время демонстраций на Тяньаньмэнь. Она бежала.

– А что за неприятности?

– Довольно, – сказала мать. – Больше тебе знать незачем.

– Нет! Мне надо знать больше.

Мама гневно захлопнула словарь.

– И вообще, кто разрешил тебе встать? Мала еще быть такой любопытной!

– Но...



– Довольно.

Мама дождалась, пока я отправлюсь в кровать, и только тогда позвонила по телефону. Она говорила на родном языке, на кантонском, то тут, то там коротко вставляя фразы на мандаринском, и даже из-за закрытой двери я ее слышала – как она запинаясь на тонах, никогда не выходивших у нее естественно.

Я слышала, как мама спрашивает:

– У тебя там очень холодно?

А потом:

– Твой билет на “Грейхаунд” будет в...

Я сняла очки и уставилась в расплывшееся окно. Дождь был похож на снег. Голос мамы казался мне совсем чужим.

После долгого молчания я нацепила очки обратно, выбралась из постели и вышла. Мама с шариковой ручкой в руке сидела над стопкой счетов, словно ждала, пока кто-то начнет ей диктовать. Она увидела меня и спросила:

– Ты почему без тапочек?

Я сказала, что не знаю, где мои тапочки.

– Девочка, а ну в кровать! – взорвалась мама. – Что тут непонятного? Просто оставь меня ненадолго в покое! Ты вечно хвостом за мной ходишь, следишь и следишь, точно думаешь, что я... – она с силой хлопнула ручку на стол, и кусочек пластика отломился и покатился по полу. – Ты думаешь, я уеду? Думаешь, я такая же эгоистка, как он? Что я способна была бы тебя так же бросить и причинить тебе такую же боль? – последовала длинная, яростная тирада на кантонском, а затем:

– Да просто иди уже спать!

Сидя там со старым, тяжелым словарем, она казалась такой пожилой и хрупкой.

Я спаслась бегством в ванную, захлопнула за собой дверь, открыла ее, хлопнула ей погромче и разразилась слезами. Я пустила в ванну воду, постепенно понимая, что на самом-то деле хочу именно пойти спать. Я так рыдала, что стала икать, а когда икота наконец прекратилась, единственным звуком остался шум льющейся воды. Примостившись на бортике ванны, я смотрела, как исчезают под водой мои ступни. Мои бледные ноги подогнулись, я погрузилась под воду.

В воспоминаниях ко мне вернулся папа. Он вставил кассету в магнитофон, велел мне опустить жалюзи, и мы поплыли вниз по Мэйн-стрит и по Великому Северному пути, под трубный глас бетховенского концерта “Император” (солист – Гленн Гульд, дирижер – Леопольд Стоковский). Спешные ноты водопадом бежали вниз и до бесконечности – вверх, и мой отец правой рукой дирижировал, а левой крутил руль. Я слышала, как он мелодично напевает, отбивая такт: ТА! ТА-ти-ти-ти-ТА!



Та, та, та! У меня было такое ощущение, что, пока мы триумфальным маршем двигались по **Ванкуверу**, первую часть концерта творил не Бетховен, но мой отец. Его рука отбивала четыре четверти, захватывающую трель между последней долей и первой,





и я гадала, что бы это могло значить – чтобы человек, который некогда был знаменит, который выступал в Пекине перед самим Мао Цзэдуном, в собственном доме даже пианино не держал? Что на хлеб он себе зарабатывал, трудясь в магазине? Если уж на то пошло, то, хоть я и умоляла отдать меня учиться играть на скрипке, отец всегда отказывал. И, тем не менее, вот мы пересекали город в объятиях этой победительной музыки, так что прошлое, Бетховена и моего отца, никогда не умирало, но лишь разносилось эхом из-под ветрового стекла, а затем вздымалось и укрывало нас, словно солнце.

“Бьюика” больше не было; мама его продала. Из них двоих она всегда была жестче и неприхотливей, как кактус в гостиной – единственный комнатный цветок, переживший отбытие папы. Отцу моему, чтобы выжить, требовалось больше. В ванной мои ноги все больше уходили под воду. Устыдившись, что так много ее уходит впустую, я закрутила кран. Отец сказал однажды, что музыка полна молчаний. Он ничего мне не оставил – ни письма, ни послания. Ни слова.

Мама постучала в дверь.

– Мари, – позвала она. Повернула ручку – но дверь была закрыта. – Лилин, ты в порядке? Минуло долгое мгновение.

Правда была в том, что отца я любила больше. Понимание этого пришло ко мне в тот самый миг, когда я окончательно осознала, что отец, должно быть, ужасно страдал и что моя мать никогда, ни за что на свете меня бы не бросила. Она тоже его любила. Рыдая, я коснулась ладонями воды.

– Мне просто ванну принять надо было.

– Ох, – произнесла она. Ее голос, казалось, отразился эхом в самой ванной комнате. – Смотри не простудись там.

Она снова попыталась открыть дверь, но та все еще была закрыта.

– Мы справимся, – сказала она наконец.

Больше всего на свете мне хотелось разбудить нас от этого сна. Вместо этого я беспомощно плеснула водой на собственные слезы и кивнула.

– Знаю.

Я слушала, как она уходит – как все тише стучат ее шлепанцы.

Шестнадцатого декабря 1990 года мама вернулась домой на такси с новой дочерью, пальто на которой не было – только толстый шарф, шерстяной свитер, синие джинсы и холщовые туфли. Я никогда еще не встречалась с китайкой – в смысле с такой китайкой, которая, как мой отец, приехала из настоящего материкового Китая. На шнурке у нее на шее висела пара серых варежек, нервно раскачивавшихся у бедер. Обтрепавшиеся концы голубого шарфа спадали один на грудь, а другой – на спину, на манер университетского преподавателя. Дождь лил как из ведра, и она шла, опустив голову, со средних размеров чемоданом в руках, который, судя по всему, был пустым. Она была бледна, и волосы у нее блестели, словно море.

Я как ни в чем не бывало открыла дверь и распахнула глаза, будто и не ждала никаких гостей.

– Девочка, – сказала мама, – возьми чемодан. Побейстрее.



Ай Мин шагнула внутрь и помедлила на краешке дверного коврика. Когда я потянулась за чемоданом, то нечаянно коснулась ее руки, но Ай Мин ее не отдернула. Вместо этого она протянула другую руку и легонько накрыла мою. Она смотрела на меня в упор, с такой открытостью и любопытством, что от стеснения я зажмурилась.

– Ай Мин, – говорила мама, – позволь тебе кое-кого представить. Это моя Девочка.

Я отступила на шаг и вновь открыла глаза.

Мама, снимая пальто, оглядела сперва меня, а затем комнату. Коричневый диван с тремя бежевыми полосками знавал времена и получше, но я украсила его всеми имевшимися в доме цветастыми подушечками и плюшевыми зверями с собственной кровати. Еще я включила телевизор, чтобы придать комнате более живой вид. Мама с энтузиазмом мне закивала.

– Девочка, познакомься со своей тетей.

– Слушай, правда нормально, если ты будешь звать меня Ай Мин. Пожалуйста. Мне, хмм, правда так больше нравится.

Чтобы угодить им обоим, я сказала: «Привет».

Как я и подозревала, чемодан оказался очень легкий. Свободной рукой я потянулась за пальто Ай Мин, слишком поздно вспомнив, что у нее его нет. Моя рука зависла в воздухе, как вопросительный знак. Ай Мин потянулась ко мне, взяла мою ладонь и крепко ее пожала.

Смотрела она вопросительно. Ее волосы с одной стороны были заколоты назад, но с другой стороны ниспадали свободно, так что казалось, что она все время стоит в профиль и вот-вот ко мне повернется. Не выпуская моей руки, Ай Мин бесшумно скинула с ног туфли – сперва одну, затем другую. Булавочные головки дождя блестели у нее на шарфе. Наши жизни успели сжаться до такой степени, что я и не помнила, когда в последний раз в наш дом входил посторонний человек; присутствие Ай Мин делало все незнакомым, словно стены на несколько дюймов сблизились, чтобы на нее посмотреть. Прошлой ночью мы хотя бы собрали папины бумаги и записные книжки в коробки и составили их под кухонный стол. Теперь поверхность стола казалась мне обманчиво голой. Я высвободила руку и сказала, что отнесу чемодан в ее комнату.

Мама принялась показывать ей квартиру. Я ретировалась на диван и притворилась, будто смотрю прогноз погоды, который предрекал дождь до конца недели, до конца девяностого года, до конца столетия и даже до конца времен. Голоса мамы и Ай Мин спешили друг за другом, как вагончики канатной дороги, раз за разом перемежаясь молчанием. Я заразилась напряжением, воцарившимся в доме, и мне стало казаться, что пол сделан из бумаги, что повсюду вокруг написаны слова, которых мне не прочесть; и что один бездумный жест может снести все это до основания.

Поели мы вместе, рассевшись за обеденным столом. Мама убрала центральную доску, превратив стол из яйца в круг. Она даже прервала болтовню, чтобы наградить меня взглядом, в котором ясно читалось: *прекрати паяльность*.

Я то и дело случайно пинала ногой коробки под столом, отчего Ай Мин подпрыгивала на месте.

– Ай Мин, тебе не холодно? – весело осведомилась мама, не обращая на меня ни малейшего внимания. – Я сама, пока не переехала в Канаду, зимы вообще не видела.

– В Пекине зима была, но меня это устраивало. На самом деле я далеко оттуда выросла, на юге, где было влажно и тепло, так что, когда мы переехали в Пекин, холод оказался мне в новинку.

– Я в столице никогда не бывала, но слышала, что туда из западных пустынь пыль наносится.

– Так и есть, – с улыбкой кивнула Ай Мин. – Пыль тогда и в волосы, и в одежду лезет, и даже в еду.



Сидя напротив нее, я видела, что ей и правда уже все девятнадцать. Усталые глаза Ай Мин опухли и неожиданно напомнили мне скорбное лицо мамы. Думаю, порой такое бывает – смотришь на человека и понимаешь, что внутри он полон слов. Возможно, он и держит их за зубами от боли или от замкнутости – или, может, из хитрости. Возможно, эти слова заточены до бритвенной остроты и жаждут пустить кровь. Я почувствовала себя разом и ребенком, и взрослой. Я хотела, чтобы нас с мамой оставили в покое – но по причинам, которые я сама толком не могла выразить, мне хотелось быть рядом с Ай Мин.

– А что значит “минь” в “Ай Мин”? – спросила я по-английски, пиная коробку, чтобы придать своим словам больше веса. – Это то “минь”, которое “понимать”, или “минь”, которое “судьба”?

Обе они посмотрели на меня.

– Ешь свою курицу, – сказала мама.

Дочь изучала меня с выражением удовлетворения на лице. В воздухе между нами она начертила знак – ##. Солнце и Луна, сведенные воедино, чтобы обозначить понимание или яркость. Самое обычное, повседневное слово.

– Мои родители хотели выразить идею “аи миинь”, – сказала она, – “лелеять мудрость”. Но ты права, тут есть подвох. Идея... м-м... не то что бы лелеять судьбу, не совсем, но принимать ее, – она вновь подхватила свою миску и запустила в мягкий рис кончики палочек.

Мама спросила, не нужно ли ей чего и не хочет ли она, может, чем-нибудь заняться.

Ай Мин отставила миску.

– Честно говоря, я, кажется, давно уже нормально не высыпалась. В Торонто я никак не могла отдохнуть. Каждые несколько недель приходилось переезжать.

– Из дома в дом? – спросила мама.

Ай Мин вся дрожала.

– Я думала... я боялась полиции. Мне было страшно, что меня вышлют обратно. Не знаю, смогла ли моя мама вам все рассказать. Надеюсь, смогла. В Пекине я ничего плохого не сделала, никаких преступлений не совершала, и все-таки... В Китае мои тетя с дядей помогли мне сбежать, и я перешла границу с Кыргызстаном, а потом... вы купили мне сюда билет. Несмотря ни на что, вы мне помогли... Я благодарна, я боюсь, что никогда не смогу отблагодарить вас так, как следует. Простите меня за все...

Маме явно стало неловко.

– Ну-ну, – сказала она. – Скушай что-нибудь.

Но Ай Мин уже стала как будто совсем другой. Руки у нее так тряслись, что она не в состоянии была управиться с палочками.

– Я каждый день перебираю все в памяти и все думаю, думаю, но не понимаю, как я сюда добралась. Как будто я беженка. Дома моя мама с голоду умирает. Я спать боюсь... иногда мне снится, что ничего этого на самом деле не было, но тогда я просыпаюсь как в кошмар. Если бы я не уехала от мамы, если бы мой отец не умер, если бы он не... но самое важное – это чтобы я чего-то добилась, потому что вот прямо сейчас у меня ничего нет. Даже паспорта. Старым я пользоваться боюсь, он... незаконный. Он чужой, но выбора у меня не было. Я слышала, что, если бы мне удалось перебраться через границу в Соединенные Штаты, там для китайских студентов амнистия, и я, может быть, под нее подойду. Даже если у меня сейчас ничего нет, я вам все потом возьму, я клянусь. Обещаю.

– *Чжи ню*, – произнесла мама, подаваясь к ней. Эти слова меня озадачили. Они означали “дочь моего брата” – но у мамы не было братьев.

– Я хотела о них позаботиться, но все так быстро переменялось. Все пошло не так.

– Здесь тебе не от чего защищаться, – сказала мама. – Мы семья, и это не просто слова, понимаешь? Это намного больше, чем слова.

– А еще, – поблдевав, сказала Ай Мин, – я от всей души сочувствую вашей потере.



Моя мать с Ай Мин поглядели друг на друга.

– Спасибо, – сказала мама. От выступивших вдруг у нее на глазах слез все во мне застыло. Несмотря ни на что, через что мы прошли вместе, моя мать очень редко плакала. – А я так сочувствую твоей... Мой муж очень любил твоего отца.

В первую же субботу, когда маме не надо было идти на работу, она отправилась в город и вернулась с носками, свитерами, парой зимних ботинок и пальто. Вначале Ай Мин очень много спала. Она появлялась из маминой спальни со всклокоченными волосами, в моих лосинах и в старой маминой футболке. Ай Мин боялась выходить из дома, так что прошло несколько недель, прежде чем она надела свои новые ботинки. Впрочем, пальто она носила каждый день. Днем она много читала, сидя за кухонным столом за стопкой книг моего отца. Она читала, сунув руки в карманы пальто и прижимая страницы ножом для мяса. Волосы ее иногда падали вперед и загорали ей свет, и тогда она закручивала их и затыкала пучок под воротник свитера.

Однажды вечером, когда она пробыла у нас уже около недели, Ай Мин попросила маму обрезать ей волосы. Это было, помню, сразу после Рождества. Поскольку занятий в школе не было, большую часть времени я проводила перед телевизором, поедая шоколадных черепашек. Мама велела мне прийти и обрызгать волосы Ай Мин водой из пластиковой бутылки, но я отказалась, заявив, что волосы нашей гостьи следует оставить в покое.

Женщины рассмеялись. Ай Мин сказала, что хочет выглядеть современно. Они ушли на кухню и расстелили газеты, и Ай Мин сняла пальто и забралась на табуретку, чтобы ее длинные волосы свободно падали из-под под маминых ножниц. Я смотрела серию “Команды А”, и из-за холодного шелканья ножниц, равно как и от смешков мамы и Ай Мин, невозможно было сосредоточиться. В первую же рекламную паузу я отправилась на кухню проверить, как там их успехи.

Ай Мин, сложив руки в молитвенном жесте, закатила при виде меня глаза. Мама отрезала почти треть ее волос, и длинные влажные пряди валялись на полу, как перебитые гады морские.

– Ох, – сказала я, – да как у вас рука поднялась?

Мама занесла свое оружие.

– Девочка, ты следующая.

– Ма-ли, уже почти Новый год. Время стричься, – Ай Мин нелегко давалось произнести “Мари”, и она выбрала китайский вариант, который, согласно словарю, означал “чарующий минерал”.

И ровно в этот момент мама отрезала еще один внушительный ломоть ее волос. Тот спорхнул на пол, словно все еще дыша.

– Это канадский Новый год. В Канаде на Новый год не стригутся. А пьют шампанское.

Каждый раз, как мама нажимала на распылитель, приделанный к пластиковой бутылке, Ай Мин, крепко жмурившуюся от холода, окутывала дымка. Даже ее бледность переставала казаться такой душераздирающей. Обрезав ей волосы по плечи, мама принялась выстригать Ай Мин челку, до крайности модно ниспадавшую на лоб. Ай Мин была очень, очень красива. Глаза у нее были темные и ясные, а губы, как сказали бы поэты, цвели на коже, как роза. На щеках Ай Мин выступил румянец, которого еще час назад там не было, и всякий раз, как мама долго вглядывалась в нее, оценивая плоды своих трудов, Ай Мин заново краснела. Обо мне они совсем позабыли.

Когда я вернулась в другую комнату, по телевизору шли финальные титры “Команды А”. Я хлопнулась на диван и подтянула колени к груди. Наше окно было едва ли не единственным, в котором не светились праздничных огней, и мне казалось, что за нашей квартирой пристрасно наблюдает НЛЮ, команда которого никак не может определиться, высадиться им в Ванкувере или лететь дальше. Пришельцы в моем космическом корабле задавались вопросом: а газировка



тут есть? Что они тут едят? Может, стоит подождать и вернуться весной? *Земля, объяснила я им. Люди не созданы, чтобы парить в воздухе. Если мы не будем знать веса наших тел, если не будем чувствовать силу притяжения, то забудем, кто мы, утратим себя – и сами даже не заметим.*

Ай Мин читала одну из отцовских книг – двуязычный сборник стихов. Теперь за него взялась я; книга была мне знакома, потому что я пользовалась ей на уроках каллиграфии. Я листала страницы, пока не дошла до стихотворения, которое я знала, до слов, которые подчеркнул мой отец:

Гляди, как ночь поворачивает на день.  
В доме шорохи; встать бы, да не смеешь.  
По ту сторону ширмы сияние; пройти бы насквозь, но не можешь.  
Было бы слишком больно увидеть ласточку у нее на шпильке.  
Было бы мне позором узреть феникса в ее зеркале.  
На рассвете я возвращусь в Хентян,  
Угасая, как свет на камнями шитом седле.

Я дважды прочитала стихотворение от начала до конца и закрыла книгу. Я надеялась, что в посмертии, куда отправился отец, он тоже отмечает Рождество и Новый год, но боялась, что он там один и что, в отличие от Ай Мин, пока не нашел семьи, которая его защитит. Хотя я на него и злилась, хоть боль меня не оставляла, я не могла перестать отчаянно желать ему счастья.

Само собой, рано или поздно Ай Мин обнаружила бы под столом коробки. В январе я пришла домой из школы и увидела, что отцовские бумаги все на виду – не потому, что она их перетаскивала, а потому, что она отодвинула сам обеденный стол. Одна из коробок была полностью пуста. Устилавшие стол папины дневники напомнили мне о нищете ванкуверского блошиного рынка. И что было еще хуже – Ай Мин понимала все иероглифы до единого, а я, его единственная дочь, ни строчки не могла одолеть.

Она готовила капустный салат и нарезала столько хрена, что я даже подумала, а не лишней ли там будет капуста.

Я сказала, что не знаю, выдержит ли мой желудок столько хрена.

Она рассеянно кивнула, сгрузила капусту в миску и сильно встряхнула. Все взмыло в воздух и приземлилось обратно в миску. На Ай Мин был мамин фартук с надписью “Канада: мир по соседству”, а под ним – зимнее пальто.

Она подошла к столу.

– Однажды, когда я была совсем маленькой, я видела твоего отца.

Я не двинулась с места. Мы с Ай Мин ни разу еще не говорили про папу. Что она его знала, что ей ни разу до того не пришло в голову мне об этом сказать, наполнило меня таким жестоким разочарованием, что аж дыхание перехватило.

– Сегодня днем, – сказала она, – я начала просматривать эти коробки. Это ведь вещи твоего отца, правильно? Конечно, мне следовало спросить у тебя разрешения, но там так много тетрадей.

Не глядя на нее, я ответила:

– Отец переехал в Канаду в семьдесят девятом. Тут бумаги за двенадцать лет. Целая жизнь. Он почти ничего нам не оставил.

– Я это называю “комнатой ца-цзи”, – сказала она. – Того, чему больше нигде не место. Обломки, осколки, всякая всячина...



Чтобы унять дрожь, начавшуюся у меня в груди и теперь расплывшуюся по рукам и ногам, я принялась повторять про себя, раз за разом, слова, которые употребила Ай Мин и которых я никогда прежде не слышала: *ца-цзи*.

– Ты ведь понимаешь? – спросила она. – То, о чем никогда не говорят вслух, и так оно под конец и оказывается тут, в дневниках и тетрадках, в укромных местах. А когда мы его находим, уже слишком поздно.

Ай Мин крепко держала тетрадь. Я сразу ее узнала: длинную и узкую, в форме крошечной двери, не туго прошитую хлопковой нитью. Книга записей.

– Так ты ее уже видела? – Я вновь промолчала, и Ай Мин грустно мне улыбнулась. – Это написано рукой моего отца. Понимаешь? Такой легкий почерк, такой искусный. Он всегда старался, когда писал, даже если иероглиф был простой. Он от природы был внимательный.

Она открыла тетрадь. Слова будто плавали на поверхности, двигаясь по собственной прихоти. Я попятилась. Ай Мин ни к чему было мне показывать, я и так знала, как оно выглядит.

– У меня свое *ца-цзи*, – продолжила она. – Но оно теперь повсюду, и я не знаю, как его хранить. Знаешь, Ма-ли, зачем мы ведем записи? Должна быть какая-то причина, но что пользы от того, чтобы хранить такие малозначительные вещи? Мой отец был великим композитором и великим музыкантом, но отказался от своего таланта, чтобы меня защитить. Он был очень честным человеком, очень искренним, и даже моему отцу хотелось оставить частичку его себе на память. Даже твой отец его любил. Но ему позволили умереть. Прикончили его как скотину. И как мне это объяснят? Будь жив мой отец, меня бы тут не было. Я не была бы одна. А твой отец, он бы не... Ох, Ма-ли, прости. Мне так жаль.

И тут Ай Мин сделала то, чего я не видела с тех самых пор, как она приехала – больше месяца тому назад. Она не просто разрыдалась – ее охватило такое горе, что она даже не отвернулась и не закрыла лицо. И как же меня напугал ее плач – тихие причитания, от которых все рассыпалось на куски. Мне показалось, что она повторяет: “Помоги мне, помоги”. Я ужасно испугалась, что, если коснусь ее, боль Ай Мин вольется в мое тело и навсегда станет моей собственной. Мне было этого не вынести. Я отвернулась от нее. Ушла в свою комнату и закрыла за собой дверь.

Комната показалась мне очень маленькой. *Семья*, прошептала я про себя, это драгоценная шкатулка; она не может открываться и закрываться когда угодно, просто потому, что мама так велела. Как же больно мне стало от папиного портрета на комод. Нет, не из-за портрета – но из-за чувства, которое тот вызывал, болезненного, как ссадина, от которого все – даже моя любовь к маме и к Ай Мин – наполнялось горечью. Мне хотелось швырнуть фотографию на пол, но я боялась, что она настоящая, что в ней – сам отец и что, если я ее попорчу, он никогда не сможет вернуться домой. Дождь барабанил за окном, заглушая мои мысли. Стекая по подоконнику, он скользил и преображался, и все эти ручейки, то переполнявшиеся, то мелевшие, сливавшиеся и дрожавшие, сбивали меня с толку и зачаровывали. Неужели я так же мало значу? Удастся ли мне когда-нибудь хоть что-то изменить? Я вдруг вспомнила отцовский аромат, сладость словно молодых листьев или свежескошенной травы, запах его мыла. Его голос, со странно официальной речью: “Что желает дочь сказать отцу? Почему дочь плачет?” Ни у кого на свете больше не было такого голоса.

Я против воли вспомнила подслушанный мамин рассказ: когда папу нашли, он был практически без остатков. Она говорила по телефону, по международной линии – с подругой в Гонконге. Мама сказала, что чемодан, который он брал с собой набитым, оказался пустым. Он от всего избавился, включая обручальное кольцо, портативный CD-плеер *Sony* и музыку. У него даже нашей фотографии при себе не было. Единственная записка, которую он оставил, была вовсе не прощальная. Он писал только, что есть долги, которых ему не оплатить, и



ошибки, с которыми жить он не может, и что он хотел бы быть похороненным в Гонконге, на китайской границе. Писал, что любит нас.

Раз в год отец водил нас в филармонию. Хороших мест нам никогда не доставалось, но папа говорил, что это неважно; важно быть там, существовать в зале, где обновляют музыку, какой бы старой та ни была. Жизнь, говорил мне порой отец, полна препятствий, и никогда нельзя быть уверенным, что завтра или на следующий год все останется прежним. Он рассказывал мне, что, когда он был маленьким мальчиком, его приемный отец, Профессор, пошел с ним в филармонию в Шанхае, и этот опыт навсегда его изменил. Внутри него вдруг обрушились стены, о существовании которых отец прежде и не подозревал. “Я понял, что мне предназначено прожить иную жизнь”, – сказал он. Стоило ему узнать об этих стенах, как он больше думать ни о чем не мог, кроме как о том, как их разрушить.

– Это какие стены? – спросила я.

– Минь, – сказал он. – Судьба.

И только потом, когда я снова посмотрела это слово в словаре, я увидела, что “минь” (#) означает судьбу – но еще означает и жизнь.

Стук в дверь вернул меня к дождю, к комнате и к себе самой.

– Ма-ли, – начала Ай Мин, сидя в изножье моей кровати. Она включила настольную лампу и стала похожа на мою собственную бледную тень. – Мне не следовало читать дневники твоего отца. Это я и хотела тебе сказать. Мне правда очень совестно, Ма-ли. Пожалуйста, прости меня.

Молчание стало еще более напряженным. Я уселась так далеко от нее, как только могла – на стопке своих подушек.

– Я ведь на самом деле такая трусиха, – прошептала Ай Мин.

– Чего ты боишься?

– Что твоя мать попросит меня уйти. Одна я больше выживать не смогу. Знаю, что не смогу.

Меня захлестнул стыд. Ее слова каким-то образом напомнили мне о папе.

– Ты – из нашей семьи, так мама сказала.

– Просто наши жизни, Ма-ли, все перепутались. И еще эти... разбитые сердца, между твоей семьей и моей...

Я кивнула, как будто понимаю.

– Мой отец, как и твой, любил музыку, – продолжала Ай Мин. – Он раньше преподавал в Шанхайской консерватории, но это было еще до моего рождения.

– А что он потом делал?

– Он двадцать лет работал на заводах. Сначала делал деревянные ящики, а потом – радиоприемники.

– Не понимаю. Зачем ему было этим заниматься, если он любил музыку?

Дождь лил так сильно, что молотил по окну серебряными крапинками. Я вдруг ни с того ни с сего представила себе, как мама стоит на автобусной остановке в облепившем тело пальто, а холод и сырость пробирают ее до костей.

– Я встречалась с твоим отцом, – сказала Ай Мин, уходя от ответа. – Когда я была маленькой, Цзян Кай заехал к нам в деревню. Отец был очень рад увидеть его спустя столько лет. Это было в семьдесят седьмом, Председатель Мао умер и начиналась новая эпоха. Многое менялось, но даже тогда мой отец остерегался выражать свои чувства. Но я поняла, как много значил для него визит Цзян Кая, и поэтому навсегда его запомнила. А потом, когда отец умер, Цзян Кай нам позвонил. Твой папа был в Гонконге. Я с ним говорила по телефону.

– Ай Мин, я не хочу, чтобы ты говорила про папу. Никогда, ни за что не хочу даже имени его слышать.



– Хм-м, – сказала она, сунула руки в карманы пальто и тут же вынула их.

– Почему ты всегда так мерзнешь? – удивленно спросила я.

Она сжала ладони, чтобы согреться.

– Я из Пекина уезжала зимой, и думаю, холод у меня в костях застрял, потому что с тех пор я так и не могу согреться. Мама и бабушка помогли мне бежать из Китая. Они боялись, потому что... я не умела притворяться. Не могла жить дальше, как будто ничего не произошло.

Ай Мин зарылась в пальто поглубже. Она казалась ужасно юной и одинокой.

– Ты ведь очень скучаешь по своей маме, да?

Ай Мин кивнула.

Что-то в голове у меня щелкнуло. Я слезла с кровати и вышла. Тетрадь с почерком ее отца, Книгу записей, отыскать оказалось нетрудно. Я взяла ее, зная, что Ай Мин это понравится. Но когда я предложила тетрадь Ай Мин, та меня проигнорировала.

Я попыталась снова.

– Мне мама говорила, тут замечательные приключения, кто-то там едет в Америку, а кто-то в пустыню. Она сказала, что тот, кто это переписывал, настоящий мастер каллиграфии.

Ай Мин выглянула из пальто.

– Мой отец и правда писал отличным почерком, но мастером каллиграфии он не был. И вообще, неважно, насколько Книга записей красивая, это же всего лишь книга. Она не по-настоящему.

– Ничего страшного. Если ты мне ее считаешь, я смогу подтянуть китайский. Это-то по-настоящему.

Она улыбнулась. Несколько мгновений Ай Мин листала страницы, а затем вернула тетрадь на покрывало, ставшее между нами чем-то вроде нейтральной полосы.

– Плохая идея, – сказала она. – Тут семнадцатая глава. Начинать с середины бессмысленно, особенно если других глав у тебя нет.

– Первые шестнадцать глав ты можешь пересказать. Уверена, ты их знаешь.

– Невероятно! – Она вдруг засмеялась. – Вот точно так же я изводила свою бабушку, чтобы та сделала что-нибудь, чего делать не собиралась.

– И твоя бабушка поддавалась?

– Время от времени.

Я завернулась в одеяло, словно дело было улажено.

– Прежде чем ты совсем уютно там устроишься, – сказала Ай Мин, – должна сказать тебе, что мою бабушку все знали как Большую Матушку Нож.

– Это ненастоящее имя!

– В этой истории все имена настоящие, – она лукаво наклонила голову набок. – Или, может, мне следует прибавить “Девочка”? Или “Ма-ли”? Или “Лилин”? Какое из них твое *настоящее* имя?

– Все они настоящие.

Но даже говоря это, я гадала, и сомневалась, и боялась, что каждое из имен занимает так много места, что, может, способно и оказаться отдельным самостоятельным человеком, а я сама в конце концов вовсе исчезну.

Совершенно запутавшись, я свернулась клубком в свободном пространстве между нами. Ай Мин тем временем продолжала листать тетрадь. Я спросила, какая была из себя Большая Матушка Нож. Ай Мин погладила меня по голове и ненадолго задумалась. Она сказала, что у Большой Матушки Нож все было разом и большое, и маленькое: длинные ресницы над узкими глазами, маленький нос и пухлые щеки, а плечи как холмы. С самого детства Большая Матушка Нож завивала волосы; к старости кудряшки у нее стали жидкие и тонкие, будто из воздуха. У Большой Матушки был смех, как карканье галки, отвратительный нрав и оглушительный



голос, и даже когда она была совсем маленькой, люди опасались относиться к ней без должного уважения.

Я закрыла глаза, и Ай Мин отложила тетрадь.

В чайных и в ресторанах Большая Матушка Нож и ее младшая сестра, Завиток, распевали такие колдовские гармонии, что и большие, и малые беды словно бы таяли под чарами их голосов. Они странствовали по городам и весям, рассказывала Ай Мин, выступая на самодельных подмостках, и в их темных волосах сверкали цветы и монисто. Циклы вроде “Речных заводей” или “Схватки У Суна с тигром” могли насчитывать до сотни глав, и старые сказители порой рассказывали их многие месяцы подряд – и даже годы. Слушатели не могли устоять; они прибывали точно, как часы, и жаждали услышать следующую часть. То было время хаоса, бомб и наводнений, и песни о любви лились из радиоприемников и рыдали на улицах. На музыке держались свадьбы, рождения, обряды, труд, марши, скука, противостояние и смерть; музыка и рассказы даже в такие времена служили убежищем, выездной визой куда угодно.

\* \* \*

В те дни деревня могла через каждые несколько недель переходить из рук в руки – от коммунистов к националистам, а от тех к японцам. Легко можно было принять брата за предателя, а возлюбленного – за врага; бояться, что ты сам родился не в тот момент истории. Но в чайных кто угодно мог обменяться песнями, кто угодно мог поднять чашу вина и выпить за истинную и вечную любовь. “Люди знали, что семья и родство – это по-настоящему, – говорила Большая Матушка. – Они знали, что когда-то существовала и обычная жизнь. Но никто не мог им объяснить, почему, вот так вот просто и вообще безо всякой причины, все, что было для них дорого, взяли и стерли в порошок”.

Ей было восемнадцать, когда она назвала своего новорожденного сына Воробушкой – скромным именем из тех, что редко давали мальчикам. Крошка-воробей был птицей настолько обычной, что боги и люди, идеалисты и воры, коммунисты и националисты проходили мимо с равным к нему презрением. Мирный воробей не имел никакого веса – он не тащил с собой клади и не доставлял посланий.

Все свое детство Воробушек вдруг просыпался в маленьких городках. Рядом с его матерью и тетей пьяно орали завсегдатаи чайных – мужчины гремели, как тромбоны, а женщины выводили трели, точно флейты. К пяти годам он уже сам зарабатывал себе на хлеб, играя “Песнь холодного дождя” или “Там, далеко” – такие за душу берущие баллады, что даже те, у кого в карманах было шаром покати, пытались чем-нибудь его подкормить – кусочком репки, или хлебной крошкой, или даже затяжкой из своих в фут длиной табачных трубок. “Вот и маленький песчаный воробушек (или золотое крылышко, или красный воробушек, или каменный воробушек), – говорили старухи, – вновь прилетел расклевывать наши сердца”.

Однажды, в общем хаосе, они наткнулись в заброшенной деревне на труппу слепых музыкантов. Те шагали, поддерживая друг друга под локти, за зрячей девочкой – не старше восьми или девяти лет. Воробушек спросил у матери, как спрячутся слепые музыканты – что, пошатываясь, волоклись вперед, как веревка по пыльной дороге, – когда нагрянет авиация и разнесет на куски дома и беженцев, деревья и реки. Большая Матушка ответила, не шадя: “Их дни сочтены. Разве можно одной ладонью прикрыть небо?” И это была правда. Год за годом дороги шли выбоинами и проваливались, исчезали, втоптаные в грязь, целые города, оставив после себя только мусор, псов и гниlostный, тошнотворно сладкий запах трупов – сперва сотен, потом тысяч, а затем миллионов. И все же слова десяти тысяч песен (“Между мною и тобою разливается река, / жизнь моя и мое сердце на двух разных берегах...”) настолько вытеснили в памяти Воробушка все остальное, что взрослым он уже мало что помнил о войне. Только ту труппу слепых музыкантов никак не мог забыть. Однажды, в начале войны, и затем,



к вящему изумлению, почти к ее концу, они вновь появились вместе со зрячей девочкой – уже подростком, – возникнув из ниоткуда и канув в никуда бесконечно вьющейся между зданий лентой, гудя на ходу своими инструментами. Они что, в самом деле существовали? Неужели они с Большой Матушкой и Завитком, как и эти музыканты, сами того не зная, нашли способ выжить, став совершенными невидимками?

Был сорок девятый год, и гражданская война вяло ковыляла к своему завершению. Город, где они тогда были, стоял на широкой реке, и тающий лед снаружи трещал так, словно всему Китаю ломали кости. В какой-то момент между песнями появилось перевернутое вверх ногами лицо заглянувшей под стол Большой Матушки, широкое и мягкое.

Она выдала ему один грушевый леденец.

– Так у тебя голос будет сладкий, – прошептала она. – Запомни, что я скажу: народ любит музыку великой любовью. Если мы споем прекрасную песню, если мы верно вспомним все слова, народ никогда нас не бросит. Без музыкантов вся жизнь была бы сплошным одиночеством.

Воробушек знал, что такое одиночество. Трупик его двоюродного брата, завернутый в белую простыню. Старик у дороги, такой дряхлый, что не смог убежать, когда пришли красные; мальчик-солдат, чья отрубленная голова торчала над городскими воротами, и искажалась, и обмякала на солнце.

Воробушек ждал – и оттачивал до совершенства свою библиотеку песен, сам себе напевая: “Канула юность моя, как перелетная птица...”

Месяцы спустя, когда Председатель Мао стоял на воротах площади Тяньаньмэнь, эфир разразился воплями радости. Радио доносило мелодичный голос Председателя на улицы, и в дома, и даже под столы, где Воробушек, как ему казалось, просидел в ожидании целую вечность, и объявляло новое начало, коммунистическое общество и рождение Китайской Народной Республики. Слова эти обвили, словно нити, все до единого стулья, тарелки и запястья, все тележки и всех людей и стянули их жизни воедино, в новый порядок. Война закончилась. Мать вытащила Воробушка на свет, обняла его так крепко, что он чуть не задохнулся, разрыдалась и дала ему столько конфет, что у него голова пошла кругом. На следующее же утро они вновь выдвинулись в путь и пошли домой, в Шанхай.

Исчезнув до того на годы, отец Воробушка теперь вернулся героем революции. Папаша Лютня был форменным исполином, пузатым и высоченным, с широкими руками, толстыми ногами и невероятными треугольными бровями. Меж его мясистых губ была вечно зажата сигарета *Flying Horse*. Но мягкие иссиня-черные кудри, которые однажды описала Воробушку Большая Матушка, исчезли без следа; огромная лысая голова отца сияла, как луна.

В их первую встречу отец подхватил Воробушка с земли и подкинул над головой. “Да я был нулем без палочки, когда вступил в партию! – проревел Папаша Лютня. Воробушек изо всех сил старался, чтобы его не стошнило. Он всегда был хрупким мальчиком, и эта хрупкость теперь убедила его отца, что Воробушек до сих пор малыш. – Я был никуда ровным счетом не годен! – со странным торжеством вскричал отец. – Но наша Великая партия смолола меня в порошок и создала заново! Я был возрожден кровью братьев моих в Народно-освободительной армии! Да здравствует Коммунистическая партия! Да здравствует Председатель Мао Цзэдун, Красное Солнце, Великая Спасительная Звезда!”

Поднятый в воздух, Воробушек таращился на отца с болезненным, головокружительным преклонением.

Партия пожаловала им традиционный дом в переулке – недалеко от Шанхайской консерватории. Дом был двухэтажный, с внутренним двориком и просторными боковыми флигелями, места в нем хватило бы на пять семей – но, несмотря на отчаянную нехватку жилпло-



щади, дворик с ними делили еще только двое: муж и жена по фамилии Ма, потерявшие в войне всех троих сыновей. Вместе с Папашей Лютней они вывели краской на общей кирпичной стене слова: “Верить Партии Во Всем” – и все это время выстукивали ногами тонкий прихотливый ритм.

У одной только Большой Матушки душа к музыке не лежала. Здесь, в городе своего детства, она обнаружила, что грезит о покойных родителях и пропавших братьях, о потерянных муже и сыне Завитка, мечтая, что они, как Папаша Лютня, чудесным образом да появятся. Она начала слепнуть на один глаз (“От твоего вида”, – сказала она мужу) и поняла, что молодость ее – все эти годы катастроф, бегства, гонки над пропастью – подходит к концу. Исчезли без следа сокрушительные скорби и ужасы, и независимость ее тоже исчезла. Она боялась, что понятия не имеет, как жить в мирное время.

И хуже того – как-то ее угораздило оказаться замужем за человеком, чьей подлинной стихией были слоганы. Папаша Лютня был насквозь пропитан идеологией. Он требовал себе тужель из скромной соломы, а не из обычной ткани, и мало того, что учил наизусть новости из стенгазет, так еще и читал “Цзефан жибао” как молитву, раскинув руки – будто хотел заключить слова Председателя Мао в объятия. Великий Кормчий, сообщил ей однажды утром муж, сказал, что любовь – не предлог воздерживаться от критики.

– Когда я хоть раз вообще брякнула, что я тебя “люблю”? – спросила она. – Да вы, коммунисты, все не в себе.

Муж в отвращении ткнул в ее сторону сигаретой.

– Видела бы ты меня в Ставке – знала бы, как товарищи меня уважают!

– Уж извини... я как раз твоего сына таскала на горбу. Я прошла пять тысяч ли в надежде, что снова наткнусь на твою жирную физиономию! А ты в это время где был? В “Ставке”, на пианино играл да танцевал польки. Ты, тьюфак! Ну и кто тут настоящий герой революции?

Он от нее отмахнулся. Это ничего не значило. Несовместимость их в любви заставляла ее чувствовать себя пустой, как будто мир в конце концов оказался плоским. В честь геройского титула ее мужа Большую Матушку Нож распределили на отличную административную должность во Второй Шанхайской электропроводной компании. Политинформации дважды в день были так бесконечны и мучительны, что ей хотелось выколоть себе глаза.

К тому времени Воробушку исполнилось одиннадцать, и ссоры родителей пролетали мимо него легко, словно свист ветерка. В дополнение к урокам в обычной школе Папаша Лютня учил его теории музыки и цзянпу, нотной записи из цифр, линий и точек,



с которой Воробушек впервые встретился, когда ему было три года, задолго до того, как в его жизнь вошло какое бы то ни было иное письмо. Отец говорил, что ноты цзянпу доступны всем и даже последняя дочь последнего крестьянина в состоянии их прочитать. Цифрами можно было описать целый новый мир. И теперь, пока отец дулся, а мать орала, он раскачивался за партой, все распевая и распевая восхитительную лежавшую перед ним музыку – пьесу для прослушивания в Шанхайскую консерваторию. Каждый волосок у него на голове как будто порхал, как крыло. Отец дал ему учить Баха, Концерт для скрипки ля-минор, в переложении для эрху – двуструнной китайской скрипки.



2

К февралю Ай Мин жила с нами всего два месяца, но чувство было такое, словно она была тут всегда. Помню, как-то ночью по радио передавали Пятую симфонию Шостаковича. В середине третьей части Ай Мин уселась и уставилась на колонки, словно в лицо знакомого человека. Даже мне, в тогдашнем моем юном возрасте, стало не по себе от этой музыки и от чувств, что она несла. Или, может, это мне кажется задним числом; поскольку позже я узнала из Книги записей, что Шостакович написал эту симфонию в 1937 году, в разгар сталинского террора, когда было казнено больше полумиллиона людей – в том числе и ближайшие его друзья. Под кошмарным давлением он написал третью часть симфонии, то *ларго*, что доводило слушателей до слез, возвращаясь к теме первой части и разбирая ее до основания: то, что сперва казалось простым и знакомым, безыскусным даже, выворачивалось наизнанку и складывалось заново в другом измерении. Первая часть была обманчива. Внутри нее таились и ждали быть услышанными те идеи и сущности, что никогда никуда не исчезали.

Я мыла посуду, когда началась третья часть, и к ее финалу так и не домыла – руки мои сморщились в холодной воде, пальцы расслабленно накрыли зазубренный край ножа.

– Когда я была маленькая, – встав, сказала Ай Мин, – по радио играли только восемнадцать официально одобренных пьес. И больше ничего. Мы их называли *янбаньси*, “революционные оперы”. Но я, Ма-ли, часто ловила своего отца на том, что он слушает запрещенную музыку.

Ее отец – Воробушек.

– Как птичка? – спросила я, полностью погрузившись в историю, что стала теперь частью нашей каждодневной жизни.

Неожиданно Ай Мин пропела несколько тактов, и в музыке, естественной для нее, как дыхание, были и скорбь, и достоинство. Казалось, она продолжала заполнять мои мысли, даже когда утихла; такая эта музыка была мне близкая, такая живая, что я почувствовала, будто знаю ее всю жизнь. Когда я спросила Ай Мин, не Шостакович ли это, она улыбнулась и сказала, что нет. Она объяснила мне, что это из последнего сочинения ее отца.

– Вот какой был Воробушек, он тоже хотел существовать в музыке. Когда я была маленькая, он слушал свои тайные записи только по ночам, днем – никогда. В деревне, где я выросла, ночное небо было как вечность.

– Но как можно запретить *музыку*, Ай Мин?

Сама идея была такой дикой, что я чуть не засмеялась.

Ай Мин поморщилась при взгляде на раковину, посуды в которой как будто стало даже больше, а не меньше, взяла полотенце и решительно отодвинула меня в сторону. Она пустила холодную воду и принялась перемывать посуду.

Много ночей подряд, сказала Ай Мин, оставив мой вопрос без внимания, она просыпалась от отцовской музыки. Воробушек, неспешно продолжала она, был из самых известных шанхайских композиторов. Но после того, как в 1966-м Консерваторию закрыли и уничтожили все пятьсот роялей, Воробушек двадцать лет работал на заводе, где делали деревянные ящики, потом проволоку, а потом радиоприемники. Ай Мин замечала, как он, когда думает, что никто его не слышит, напевает без слов обрывки музыки. В конце концов она поняла, что эти обрывки – все, что осталось от его собственных симфоний, квартетов и прочих музыкальных произведений. Все рукописи были уничтожены.

Ай Мин могла проснуться от Шостаковича, Баха или Прокофьева; всех их она знала, но их музыкой не интересовалась. Она ерзала рядом с храпящей грудой бабкиного тела и надеялась, что Большая Матушка Нож проснется; в полусне та говорила такое, что Ай Мин слышать не полагалось.



– Я покоя ей не давала, – поведала мне Ай Мин. – Чтобы ее разбудить, я, бывало, громко пела “Юность жизни как цветок”, которая, кстати, тоже тогда была запрещена. Бабушка меня случайно научила, и я умела идеально изображать ее саму.

По моей просьбе Ай Мин это продемонстрировала. Большая Матушка Нож, с нежными ручками и плечами борца, с хрупким, но все же звучным альтом, завитые волосы – как ватный шарик, встала у меня перед глазами как живая: о родина любимая моя, когда же я паду в твои объятия?

По большей части, просыпаясь по ночам, Большая Матушка сердито бранила внучку и вновь проваливалась в сон. Но время от времени она смягчалась.

– Мои рассказы для тебя слишком старые, – говаривала она. – У тебя мозгов не хватает их понять.

– Может, это ты их плохо рассказываешь.

– Мои рассказы слишком длинные. Тебе терпения не хватит. Поди лучше поиграй в грязи.

– У меня терпения побольше твоего.

– Злобное дитя!

В такие моменты Ай Мин знала, что отец подслушивает. Она слышала, как он давится приглушенным смехом. Запах его табака скользил над ними, словно он сидел прямо за стеной.

– Я полагала, – сказала мне Ай Мин, – что, когда рассказы Большой Матушки закончатся, жизнь пойдет своим чередом и я снова стану собой. Но это была неправда. Рассказы становились все длиннее и длиннее, а я делалась все меньше и меньше. Когда я это сказала бабушке, та чуть не лопнула со смеху. И ответила мне: “Но ведь так устроен мир, разве нет? Или ты что, думала, что больше целого света?” Еще она спрашивала: “Ну что, готова? Следующая история будет такая длинная, что ты забудешь, что вообще на свет родилась”.

“Большая Матушка, скорее!”

“Ну так слушай: однажды вечером молодой человек с карманами, полными стихов, услышал в чайной «Новый Свет», как поет Завиток. Бедняга пришел туда впервые в жизни и влюбился в нее. Ну, а кто бы в нее не влюбился? – произнесла Большая Матушка. Почему ее голос так дрожал? Она что, плакала? – Никто ничего не мог с этим поделать. Так тогда все было устроено”.

Вэнь Мечтатель, начинающий поэт, родился в деревне Биньпай, в зажиточном семействе с непростой историей. В 1872 году его дед был удостоен великой чести: императорский двор избрал его одним из ста двадцати детей, которых отправили учиться в Америку. Его семья все продала, лишь бы оплатить мальчику эту поездку. Удача им улыбнулась, поскольку всего десять лет спустя их восхитительный сын, теперь прозванный “Старым Западом”, отплыл домой – пожив по соседству с Марком Твенем, поучившись в Йельском университете и получив диплом в области гражданского строительства.

Но, проведя десять лет в Шанхайской оружейной, Старый Запад внезапно скончался от чахотки, оставив по себе вдову и новорожденную дочь – и еще десять неотбытых лет квалифицированного труда, что задолжал Императору. Это была катастрофа. Отец Старого Запада выплакал себе все глаза и призывал погибель на свою голову. Оставшиеся четыре сына, решительно настроенные показать, чего они стоят, сплотились вместе. За пару десятков лет братья приобрели дюжину акров земли, включая яблоневые сады и завидный кирпичный дом, и стали одними из богатейших людей Биньпая.

Тем временем дочь Старого Запада выросла в ужасе от отцовских книг, словно те переносили заразу, способную уничтожить деревню. Маленький Запад упаковала книги в ящики и все их закопала. Единственный сын, появившийся на свет сильно после того, как она уже успела отчаяться родить ребенка, стал смыслом ее жизни, и она надеялась, что он вырастет



достойным землевладельцем, как двоюродные деды. Но вместо этого мальчик помешался на поэзии. Он был ходячая тележка с книгами – сидел за партой, с кистью для каллиграфии в руке, и тарасился в потолок так, словно ждал, чтобы слова его поглотили. Спальня его как будто плавала, оторванная от земли, над осязаемым миром сделок, торговли и земли. Мать звала его, порой нежно, а порой сердито, Вэнем Мечтателем. Он был наблюдательным, чувствительным подростком, и когда война пришла – она его сломала.

В сорок девятом, когда бои закончились, Маленький Запад отправила его в Шанхай в надежде на то, что это вернет ему волю к жизни. Карманы у него все до единого отяжелели от книг. Когда по дороге ему встречались знакомые, Вэнь говорил, что не может останавливаться обсуждать коммунистов, националистов, Сталина, Трумэна или погоду, потому что сочиняет в уме восьмистрочное рифмованное стихотворение на шесть иероглифов и любое отклонение в его пути нарушит расположение слов. Он врал. На самом деле поэзии в нем не осталось, а слов он боялся. В войну Биньпай накрыл самый страшный голод за сотню лет, но сам Вэнь никогда не знал голода. Он сидел у себя в кабинете и учил наизусть стихи, современные и старинные, в то время как снаружи матери продавали детей, а совсем еще мальчишки гибли на передовой кошмарными смертями. Половина Биньпая умерла с голоду, но помещики, наследники словно бы безграничных запасов, выжили. Теперь же шанхайские книжники толковали о новом роде поэзии, революционной литературе, достойной перерожденной нации, и эта идея казалась Вэню и трогательной, и тревожной. Мог ли авангард выразить идеи, о которых не говорили вслух, мог ли он противостоять лицемерию его собственной и подобных ей жизней? Он не знал. Когда один революционный журнал вернул ему стихи с отказом, на странице было намалевано толстой кистью: «Каллиграфия превосходная. Но твои стихи все еще дремлют в пасторальной темнице. *Луна там, ветер сям*, и кому какое дело до твоего гребаного деда?! Проснись!!!»

Он знал, что они правы. Вэнь оставил себе письмо с отказом и выбросил стихи. Он вспомнил Бертольда Брехта:

Я хотел бы быть мудрецом.  
В древних книгах написано, что такое мудрость.  
Отстраняться от мирских битв и провести свой краткий век,  
Не зная страха.  
Обойтись без насилия.  
За зло платить добром.  
Не воплотить желанья свои, но о них позабыть.  
Вот что считается мудрым.  
*На все это я неспособен.*<sup>1</sup>

Случайно он забрел в чайную «Новый Свет». Там пела молодая женщина, и Вэнь Мечтатель, сбитый с толку и зачарованный, слушал ее пять часов подряд. После он хотел с ней заговорить, отметить суровую красоту ее музыки – но какими словами? Музыка девушки содержала и поэзию, и писаное слово, и все же уносилась куда как дальше этих границ в иную обитель, в молчание, что он прежде полагал невыразимым. Вэнь хотел ее окликнуть, но вместо этого смотрел, как она в одиночку уходит вверх по лестнице. Ничто не сдвинулось с места, мир был все тот же, и все же по пути домой Вэню казалось, что его жизнь переломилась надвое. Он долго стоял, глядя на маслянистую от грязи бессонную реку, от которой в темноте остались одни только звуки, и гадал, что же переменялось.

---

<sup>1</sup> Перевод Б. Слуцкого.



Жаркой и влажной августовской ночью Завиток, делившая жилище с тремя вдовушками, получила посылку. В посылке содержалась единственная тетрадка: в форме крошечной двери, переплетенная на хлопковую нить коричневого цвета. Ни марки, ни обратного адреса, ни пояснительного письма, только ее имя, выведенное на конверте квадратными, но все же трогательными иероглифами. Она уселась было за ужин, состоявший из подсоленной репы, но тетрадь, лежавшая рядом, так и манила. Завиток открыла ее на первой странице и принялась читать. Это была книга, переписанная от руки тушью. Она много лет уже не читала книг и сперва ничего не поняла.

Страница за страницей ее забитая хламом одинокая комнатка растворялась; Завиток вдохнула пыльный воздух воображаемого Пекина, где правительство поставили на колени, старая вера была сплошь подорвана, и два друга, Да Вэй и Четвертое Мая, некогда во всех смыслах близкие, пришли к “десятому слову” – туда, где нарушаются клятвы и расходятся жизни. Когда тетрадка закончилась так же, как и началась – на полуфразе, – Завиток вновь достала конверт и от души его потрясла, надеясь, что выпадет еще один; но конверт был пуст. Она сидела на кровати во вновь притихшей комнате и утешалась, перекладывая отрывок из повести на музыку. Когда она пропела слова, те обрели еще одну, новую жизнь и заполнили комнату возможностью. Вдовушки-соседки забарабанили в стены и заорали, чтобы она вела себя потише.

Несколько дней спустя прибыла вторая глава. Зачем бы кому-то преследовать ее по почте? На следующую неделю пришли третья и четвертая. Роман продолжался, следуя сперва за Да Вэем, а затем за Четвертым Мая по пути через лежащий в развалинах Китай. Повествование петляло и перескакивало, словно из него были выдраны целые страницы или главы; но и Завитка сама война выдрала из почвы с корнем, и ей не составляло труда самой заполнять пустоты. Мало-помалу ее раздражение уступило место узнаванию и, медленно, втайне от нее самой, привязанности.

На поверхности история эта была обыкновенной эпопеей – хроникой падения империи, но заключенные в книгу люди напоминали ей о тех, кого она старалась забыть: о братьях и о родителях, о погибших сыне и муже. О людях, которых, против их воли, война толкнула на край пропасти. Она читала четвертую, девятую и двенадцатую тетради так, словно чтение могло приковать персонажей к страницам. Конечно же, она была всего лишь зрителем; один за одним они срывались с обрыва в море и исчезали из виду. Были там и такие душераздирающие моменты, что ей хотелось захлопнуть книгу и зажмуриться, только бы не видеть этих образов – но все же роман настойчиво тянул ее вперед, словно от того, забудет ли она прошлое и мертвецов, зависело само его существование. Но что, если автором романа был кто-то, кого она знала? Все ее родственники были певцы, артисты и рассказчики. Что, если они каким-то образом выжили – или прожили достаточно долго, чтобы сочинить этот выдуманный мир? Эти иррациональные мысли ее пугали, словно ее вновь соблазняли вернуться в скорбь большую, нежели весь мир и вся реальность вообще. Что, если тетради приходили от ее покойного мужа, убитого в начале войны солдата-националиста, а письма потерялись в общем хаосе и только теперь начали прибывать? Завиток слыхала, что такое случается – в четвертом веке на Северо-Западе Китая потеряли мешок почты, а воздух пустыни его сохранил. Тринадцать веков спустя венгерский путешественник нашел эти письма в обрушившейся сторожевой башне. Но это были все равно что сказки. Завиток отчитала себя за фантазии.

Посылки приходили вечерами, по воскресеньям или по четвергам, когда она была занята в чайной внизу, исполняя “Грезу Западного крыла”. Может, автор был среди зрителей – или просто пользовался возможностью незаметно проскользнуть в чайную, оставив посылку у Завитка под дверью? Бессонными ночами Завиток жгла свечи, которые не могла позволить себе транжирить, и перечитывала тетради в поисках улик. Автор играл с именами Да Вэя и Четвертого Мая. Например, в первой тетради “вэй” писалось как #, что означало “место” или “положение”. В третьей – как “вэй”, #, древнее царство не то в провинции Хэнань, не то в про-



винции Хэбэй. А в шестой тетради – как “вэй”, #, другое название Тайваня – словно местонахождение автора было закодировано в самой книге.

В день, когда Завиток получила двадцать пятый блокнот, она встретила сестру в парке Фусин.

– Не могу избавиться от чувства, что я его знаю, – сказала Завиток. – Но к чему такая тонкая игра и почему именно я получатель? Я же просто вдова без какого бы то ни было литературного вкуса.

– Так посылки до сих пор приходят? – не веря ушам своим, переспросила Большая Матушка. – Надо было тебе раньше мне рассказать. Это могут быть бандиты или политическая ловушка!

Завиток только рассмеялась.

– И пожалуйста, избавь меня от этой ереси про литературный вкус, – продолжала ее сестра. – Это все бред сивой кобылы и ерунда на постном масле. Кстати говоря, когда ты уже бросишь жить с этими злосчастными вдовушками и переедешь ко мне?

В их следующую встречу Завиток вовсе не упоминала роман. Речь о нем завела Большая Матушка, заявив, что такого рода сочинения – поддельный мир, в котором ее младшая сестра, если только не проявит осторожность, утратит свое телесное существование и вся обратится в томление и воздух.

Но Завиток слушала вполуха. Она думала о персонажах романа: Да Вэе, искателе приключений, и Четвертом Мая, ученой. Больше всего на свете они боялись не смерти, но краткости скудной жизни. В них она узнала те желания, что до сей поры в ней самой не находили себе выражения. Она улыбнулась сестре, не в силах скрыть грусть.

– Большая Матушка, – сказала она, – не принимай это так близко к сердцу. Это же всего лишь книга.

После тридцать первой тетради она ждала, как обычно. Но день шел за днем, неделя за неделей, а посылок больше не приходило.

Со временем холодное одиночество жизни Завитка вновь утвердилось на своем месте. Она ужинала напротив груды тетрадей, словно напротив притихшего друга.

Внизу же в изобилии плодились слухи.

Управляющий волновался, что с приходом к власти Председателя Мао чайные объявят буржуазными излишествами, певцов припишут к трудколлективам, а все тексты песен станут подцензурны. Хлебный Ломтик тревожился, что правительство запретит все игры, в том числе и шахматы. Завиток не впервые задумалась, не пора ли покинуть Шанхай; проезд до Гонконга ото дня ко дню становился все дороже. Но в билетной кассе она столкнулась с владельцем Библиотеки богов, прогуливавшимся со своим какаду. Забывшись, она упомянула таинственные тетради. Книготорговец поддразнил ее и сказал, что у нее в окрестностях есть брат-близнец – поэт-неудачник, известный как Вэнь Мечтатель, бродил туда-сюда в поисках списка той самой книги.

– Спроси-ка у Старой Кошки в книжной лавке “Опасные высоты”. По набережной Сучжоухэ, – посоветовал он. – Третий переулочек вниз по течению. Она всюду нос свой совала.

Завиток его поблагодарила. Она доехала до книжной лавки на трамвае, думая, что купит остаток романа и увезет его с собой в Гонконг. Книжная лавка “Опасные высоты” размещалась в одном из флигелей приземистого домика с внутренним двором, и книги стояли в три ряда от пола до потолка. В отделе художественной литературы Завиток взобралась на стремянку и принялась просматривать полки. Но, не зная ни автора, ни заглавия, искала она тщетно. Тем временем прибывал уверенный поток посетителей – молодых людей и девушек, оглядывавшихся на все стороны, словно в поисках чего-то оброненного. Один из них подошел к продавщице и принялся быстро что-то шептать. Его оттолкнул старичок в пиджаке западного покроя поверх темно-синей одежды.



– Готово? – между приступами сухого кашля выговорил он.

Старая Кошка, которая вовсе не выглядела такой уж старой, вручила ему стопку размноженных на мимеографе листов. С высоты Завитку было видно, что это копия “Доктора Фауста” в переводе Го Можо.

Губы Старичка задрожали.

– Но как же вторая часть?!

– Тут вам не завод, – заявила Старая Кошка, шлепнув на прилавок леденец от кашля. – Приходите на следующей неделе.

Остальным нужны были зарубежные романы, труды философов, экономистов и ядерных физиков. Пока у Завитка копились вопросы, Старая Кошка почти не смотрела наверх. Сама она тем временем текучим почерком переписывала бесконечные страницы. Судя по всему, мимеограф нуждался в замене детали – каковая могла вовсе не состояться.

Когда Завиток слезла со своей стремянки и осведомилась насчет Да Вэя и Четвертого Мая, книготорговка пробурчала:

– Ну вот, опять.

Каждое утро Завиток теперь приходила в книжную лавку; внутри было спокойно, а полки ломились от сокровищ. Вне всякого сомнения, другая повесть могла послужить той же цели и вырвать ее из одиночества. Она забывалась в путеводителях по Парижу и Нью-Йорку, воображая путешествие, что привело бы ее на далекий Запад.

Старая Кошка за своим столом редко поднимала глаза; двигалась только шариковая ручка, прилежно скользившая вверх-вниз по листу – так что казалось, что это именно ручка дарит советы, сведения и поддержку. Чтобы страницы не разлетелись, их прижимал бестселлер – “Бедняки берутся за ружье во имя революции”.

Через несколько недель после того, как установилось ее новое расписание, Завиток увидела, что на столе пристроена новая бумажная башня – словно прошлая стопка привлекла к себе обожателя. Затем ее взгляду поочередно предстали: чистое серое пальто с обтянутыми тканью пуговицами, полный карман бумаг и, наконец, гладкие, в чернильных пятнах руки. Она взглянула еще – и увидела молодого человека с волнистыми волосами, что глядел на нее со смущенным узнаванием.

– Вэнь Мечтатель, – сказала она.

– Госпожа Завиток, – отозвался он.

– Ну наконец-то, – сказала Старая Кошка. Ее ручка так и захлебывалась в волнах страницы.

Рукопись юноши грозила вот-вот упасть, и он придержал ее кончиками пальцев правой руки. Завиток слезла со стремянки и бесстыдно уставилась на верхнюю страницу, изучая аккуратные столбцы слов, спокойно-страстный каллиграфический почерк, что описывал обреченный роман между Четвертым Мая и Да Вэем. Ей хотелось подхватить рукопись в объятия, вновь присоединиться к Четвертому Мая в поезде на Хух-Хото, *подглядывая сквозь покрытые коркой пыли окна за тем, как возлюбленный ее курит на платформе; и через неделю, и через месяц, и целую жизнь спустя он был бы там, попроси она его об этом. Не мое, осознала она, влюбляться в того, кто будет ждать. Полсвободы мне всегда будет мало.*

– Разрешите? – спросила она, кивая на рукопись.

Кончики пальцев юноши не сдвинулись со страниц.

– Боюсь, – сказал он, – к несчастью, по моей небрежности...

Он совершенно не походил на ее мужа. Так вот кто был автор, таинственный отправитель посылок. Вэнь Мечтатель был худ и бледен, в то время как военная форма националистов на ее муже едва не лопалась по швам. Завиток покраснела.

– Простите, – снова начал он. – Я боюсь, что эта рукопись – другая история. Другого писателя.



– И все же она ваша.

– Да, – сказал он. – Нет. Что ж, понимаете, *почерк* мой.

Она подошла к нему чуть ближе. Почти-почти...

– Хватит отсиживаться в кустах, – сказала Старая Кошка. Ручка приподнялась и указала кончиком на Завитка. – Если вы, барышня, ищете создателя Да Вэя, то флаг вам в руки! Я вас первая поздравлю, когда вы его найдете, а ему, конечно, предложу щедрое вознаграждение, отличные условия и все такое. Но местонахождение автора – такая же загадка для бедняги Вэня, как и для вас. При всем при том, если вам нужен кто-то, кто *перепишет* ваши письма или будет вести за вас переписку, то что ж! Не найдете ни руки точнее, ни сердца добрей.

– Я везде искал окончание романа, – сказал Вэнь Мечтатель. – Должно быть по меньшей мере еще пятьсот страниц. Может, больше. Я думаю, он называется “Книга записей”.

– Но вы... – начала было Завиток. Она не отводила взгляда от рукописи, которая казалась плотной и безупречной.

– Я переписал для вас книгу, потому что надеялся... Я хотел...

Завиток знала, что нужно прекратить этот разговор. И все же она не могла заставить себя отойти от стола.

– Я хотел, чтобы повесть доставила вам удовольствие. Старая Кошка говорит правду, слова – не мои, – он сомкнул и стиснул хрупкие руки. – Я послал первые главы до того, как закончил переписывать рукопись. Когда я понял, что произошло, что книга заканчивается в буквальном смысле на полужае, я попытался дописать главы сам. Я пытался закончить историю, но...

– Тебе не хватило дарования, – сказала Старая Кошка.

Его хрупкость обрела какой-то скорбный оттенок. Но все же он не дрогнул и не отступил; он стоял очень неподвижно и не сводил с Завитка глаз.

– Может быть, когда-нибудь...

– Извините, – сказала Завиток, отступая.

Ей было стыдно, но она никак не могла сообразить почему, принадлежит ли это чувство ему или ей. Она развернулась, подошла к двери и ухитрилась ее открыть. Свежий воздух наполнил ее легкие, и отовсюду до нее донесся шелест страниц.

– Вы подивитесь, как мало людей способны рассказать историю, – говорила Старая Кошка. Голос ее звучал хриловато и успокаивающе, как катящаяся галька. – И все же эти новые императоры хотят их запретить, сжечь, всех до единого вычеркнуть. Они что, не знают, как это трудно – урвать себе чуточку удовольствия? Или, может, как раз знают. Хитрые козлы.

– Не позволите ли мне проводить вас до дома? – спросил Вэнь Мечтатель.

Ветер словно втолкнул ее назад и развернул вокруг собственной оси. Но стоило ей окатиться к нему лицом, стоило увидеть его внимательные, полные надежды глаза, как слова ее покинули. Она открыла рот и снова его закрыла.

– О небеса, что за интрига! – сказала Старая Кошка.

Наконец, словно и в этом был повинен ветер, Завиток кивнула Вэню в ответ.

– Если вам так будет угодно.

Вэнь Мечтатель очутился рядом, он придерживал дверь, и она вышла.

Повсюду падали листья. Вскоре обещала прийти зима, с ватниками и вязаными варежками, и с первыми заморозками Вэнь Мечтатель начал носить ей шарфы и шерстяные носки, банки меда и романы, которые переписывал от руки своим сдержанным, но тем не менее страстным почерком.

Зима была к Вэню добра. Его худоба превратилась в изящную жесткость. Девушки и их матушки, развешивая в переулках стирание белье, любовались вытянутым вопросительным знаком его силуэта, когда Вэнь бежал вприпрыжку по скользким улочкам – к чайной, где пела Завиток. “Не спеши ты так! – кричали ему соседи. – Слова перемешаются!” Он все еще понятия



не имел, как говорить о новом политическом устройстве, различных фракциях и собственных идеалах; мысли его полнились стихотворными строками, он записывал их и выбрасывал. Он писал и писал, и сжигал листы. Он ждал.

“Почтовый голубь”, – звали они его.

И все же из настойчивого любопытства Завиток взялась подходить к читавшим в чайных незнакомцам, чтобы осведомиться: не знакомы или они с Да Вэем? Не случилось ли им, часом, посетить пустыню Такла-Макан и впечатлиться изобретательностью, с которой он слал возлюбленной личные послания по радио, хоть их и слушали десятки тысяч человек? “На виду спрятано, – ответила одна хорошо одетая дама. – Но нет, об этом чертяке я никогда не слышала”. “А вы уверены, что это местный писатель?” – спросил некий поэт. – Тут все гроша ломаного не стоят. Должно быть, это перевод иностранной книги”. Один университетский студент был убежден, что книга списана с романа Лао Шэ, другой – что это больше похоже на современный пересказ “Записей о забытых событиях” или “Поразительного” Ли Мэнчу. “И вообще, не тратьте времени на романы, – сказала ей кто-то. – Сейчас самое время читать того новомодного поэта из Чэнду, который еще оружие коллекционирует. Хотя, в общем и целом, все, что хвалят в один голос, обычно нелепица и чепуха”.

Как-то вечером она вернулась к старым тетрадям, перечитывая их все с самого начала. В мерцании свечи она уверилась, что автор удалился в изгнание или, может, пережил некую трагедию. Быть может, ее ранило войной, вырвало из ее прежнего существования, и роман был теперь не более чем прерванной грезой. Или, возможно, как и муж Завитка, автор пал в бою, и до последних глав получилось бы добраться только в лучшем мире. Вэнь рассказал ей, что это автор, а не он, записал имена главных героев – Да Вэя и Четвертого Мая – разными идеограммами. Вэнь тоже был убежден, что имена были частью шифра, след, по которому можно было пройти. Но куда? Завиток аккуратно обернула тетради в коричневую бумагу – следовало быть бдительной. В конце концов, Книга записей лишь отвлекала от реалий современной жизни. Это была всего лишь книга, так почему же она не давала ей покоя? Завиток открыла сундук и увидела вещи из собственного прошлого, исчезнувшие времена и прошлую себя. Стоило ей расслабиться, как она чуть ли не видела, как к ней ползет сын. Он тянул ее за платье, за кончики пальцев, и его восторг сжимал ей сердце, точно шнуром. Завиток родила его, когда ей было всего четырнадцать. Ночь его смерти была слишком темна, слишком ветрена, чтобы дитя путешествовало в иной мир в одиночку. Она хотела последовать за ним с края утеса в море, но Большая Матушка разрыдалась и молила Завитка не покидать ее.

Она не могла сомкнуть глаз и до утра лежала без сна.

Шторы очертил тусклый свет. Завиток услышала плач младенца, подошла к окну и, поглядев вниз, увидела, как семейная пара пытается всунуть ребенка в зимнее пальто, сперва руки, затем ноги, затем голову; младенец, развалясь, слабо отбивался, а затем сморщил личико и завыл – но пальтишко все равно отказывалось застегиваться. На проспекте появился Вэнь Мечтатель с торчащей из кармана пачкой листов. Он склонился над плачущим ребенком, как запятая, так что младенец, сбитый с толку, мгновенно прекратил рыдать, пальто застегнули, и маленькое семейство удалилось по своим трепетным делам.

Позже, тем же утром, когда она стояла рядом с Вэнем на улице Хуайхай и он отдавал дань памяти ее пропавшим без вести родителям и старшим братьям, погибшим мужу и любимому сыну, когда он испрашивал благословения ее старшей сестры, Завиток вдруг посетило ничем не замутненное воспоминание о собственном малыше. Он поскользнулся и выпал из трамвая на спину прямо на бетон. И ни царапины. Он засмеялся и спросил, можно ли ему повторить, а затем протянул хрупкую ручку и выхватил хлеб у Воробушка изо рта. Воробушек захлопнул рот, откусив пустой воздух, и его маленькое личико наполнилось замешательством.

На улице Хуайхай Вэнь просил ее стать его женой.



Завиток помнила, как тихо было в постели, когда она вдруг проснулась. Она взяла безупречную ручку сына – и серая скорбь словно переползла из его груди в ее, и в этот миг, когда она поняла, что ее дитя мертво, она вновь потеряла родителей, братьев и мужа. Не в силах перестать плакать, она отказывалась выпускать тело сына из рук. Но, мертвый, он закалился и похолодел. Только Большой Матушке удалось наконец вынуть тело у нее из объятий.

– Госпожа Завиток, – говорил теперь Вэнь, пока мимо с пустыми сумками брели направлявшиеся за покупками горожане, – обещаю вам, что всю нашу совместную жизнь я буду искать слова, которые, возможно, никогда не встретились бы нам в нашей отдельности и одиночестве. Я не дам в обиду нашу семью. Я разделю вашу скорбь. Я свяжу свое счастье с вашим. Наша страна вот-вот явится на свет. Пусть же и у нас будет возможность начать все заново.

– Да, – сказала Завиток, словно слова его были молитвой. – Пусть.

### 3

Как-то раз Ай Мин сказала:

– Ма-ли, я не сомневаюсь, что я исчезла. Разве нет? Ты что, *правда* меня видишь?

Она подняла правую руку, затем левую – очень, очень медленно. Не будучи уверена, шутит она или нет, я повторила за ней, воображая, что отдана на милость ветра и меня влекут вперед и вертят по сторонам незримые силы.

– Я тоже невидимая, Ай Мин. Правда же?

Я затащила ее в ванную, и там мы уставились на свои отражения, словно они, а тем самым – и мы сами, были миражом. Только сейчас, задним числом, я думаю, что она воспринимала собственное исчезновение как нечто желательное. Что, возможно, ей нужно было наконец пожить не под слежкой.

Шел 1991 год, середина марта, и Ай Мин жила с нами уже три месяца. Мама теперь все время работала и взяла еще подработку, чтобы в будущем оплатить расходы Ай Мин. Я решила воспользоваться деньгами, подаренными мне на китайский Новый год – деньгами на счастье, – чтобы угостить Ай Мин ужином. План мой был сводить ее в любимый папин ресторан. Вечер, когда мы вышли из дому, был довольно теплым, и мы, держась за руки, шагали вдоль кустов на Восемнадцатой авеню, мимо покосившихся домов и нестриженных газонов, под цветущими вишнями, что наполняли ароматом даже самого прискорбного вида кварталы.

На Мэйн-стрит мы свернули на север. Я помню, что посреди тротуара лежала пожилая серая кошка – и не пошевелилась при нашем приближении, только вытянула подальше одну лапку и помахала хвостом. Ресторан словно выступил из теней, одетый в сотканную из света жилетку. Это было польское заведение под названием “Мазурка”. Внутри оказалось тепло и где-то на четверть зала народу, а еще там были белые салфетки и настоящие столовые приборы и чайные свечи в крошечных стаканчиках. Рядом с Ай Мин я чувствовала себя взрослой и повидавшей мир, форменной аристократкой. Она, в конце концов, была из Пекина, города, где в 1991 году жило 11 миллионов человек. Ай Мин объяснила мне закон больших чисел и различные методы построения математических доказательств, включая “доказательство без слов”, прибегавшее лишь к визуальным образам. Я восхищалась утверждениями вроде:

*Если известен  $x$ , то также известен и  $y$ , так как...*

или

*Если из  $p$  следует  $q$ ...*



Летом 1989-го, еще в Пекине, Ай Мин выдержала вступительные экзамены в национальный университет. Вскоре после того ей предложили место на только что открывшейся кафедре компьютерных наук в Университете Цинхуа, самом престижном естественнонаучном университете Китая.

– Я должна была поехать, – сказала она мне. – Но как я могла?

Решение Ай Мин не поступать в Цинхуа, принципиальное, но безрассудное, теперь меня поражает. Но тогда, в одиннадцать лет, я сказала ей, что это было совершенно разумно.

За голубцами и варениками Ай Мин поведала мне, что благодарна за щедрость моей матери, но чувствует себя недостойной. При свете дня она ощущала себя уязвимой, боялась показаться на глаза, но ей нужно было быть мужественной и начать жизнь заново. Ай Мин сказала, что одиночество может переменить всю жизнь.

– Думаешь, что куда-то движешься, но вовсе нет. В себе самом можно потонуть. Вот так я себя и чувствую. Понимаешь, Ма-ли?

Я вспомнила ночь перед тем, как Ай Мин приехала к нам жить, когда я погрузила лицо под воду в ванной и воображала, каково бы было перестать дышать, остановить время, как это сделал папа. Я сказала, что понимаю. Как же я жаждала все понимать.

На всем в зале лежал мягкий отблеск свечей. Официант заговорил с нами ласково, точно мы прибыли очень издалека, оттуда, где слова привыкли ждать своего эха. Я испугалась, что, пока он закончит предложение, мое детство успеет закончиться. И даже когда я ответила ему с безупречным канадским произношением, он продолжал с медлительностью веков, пока я сама не почувствовала, что мой пульс замедляется и время сделалось относительным, как то доказали физики; так что, быть может, мы с Ай Мин до сих пор сидим там, в уголке ресторана, и ждем, пока нам принесут еду, предложение закончится, а этот антракт пойдет своим чередом.

К тому времени Ай Мин уже решила, что попытается въехать в Соединенные Штаты. Амнистия для китайских студентов, прибывших после демонстраций на Тяньаньмэнь, закончилась, но в марте Ай Мин написала школьная подруга ее матери и сообщила, что Конгресс США рассматривает новый иммиграционный законопроект, такой же, как и всеобщая амнистия 1986 года, которая легализовала 2,8 миллиона нелегальных иммигрантов и позволила им получить ПМЖ. Тогда условием было проживание заявителя в США по меньшей мере в течение четырех лет; теперь же никто не знал, какие будут новые ограничения. Подруга, которая жила в Сан-Франциско, предложила Ай Мин временное пристанище; она утверждала, что откладывать дело было бы глупо.

Моя мать уже добыла для Ай Мин поддельный паспорт и прочие сопутствующие бумаги. Никто из нас не хотел, чтобы она уезжала, но решать было не нам. То, что мама мало зарабатывала, значило, что нам не разрешили бы спонсировать иммиграцию Ай Мин в Канаду.

Ай Мин была уверена, что однажды, когда-нибудь потом, я навещу ее в Соединенных Штатах. Она будет хвастаться тем, что знала меня прежде, потому что к тому времени я стану знаменитой.

– Актрисой, – попробовала угадать она.

Я помотала головой.

– Художницей?

– Ни в коем случае.

– Фокусницей!

– Ай Мин! – застонала я в отвращении.

Она улыбнулась и сказала:

– Писательницей? Предложения – это тоже уравнивания.

– Быть может.

– Мастером подставлять цифры вместо цифр.

Я понятия не имела, что это было такое, но все равно улыбнулась и сказала:



– Обязательно.

Только потом я узнала, что это китайский термин для алгебраической теории чисел. Ай Мин сказала мне, что я обладаю всем, что нужно великому математику: отличной памятью и чувством слова. Я чувствовала, что она смотрит мне в самую душу, видит сквозь маски и притворство и что, чем больше меня узнает, тем больше любит. Я тогда была слишком мала, чтобы понимать, как долговечна любовь такого рода, как редко она входит в жизнь человека, как трудно принять себя самого – не говоря уж о ближнем. Я пронесла во взрослую жизнь из детства это чувство защищенности – любовь Ай Мин, любовь старшей сестры.

Или, быть может, я просто взяла все наши оставшиеся разговоры – все незаконченные и едва начатые – и каждое их слово произнесла в тот конкретный вечер; спроецировала на прошлое некое объяснение необъяснимого и причин, по которым я ее любила и жадно ждала каждого ее письма – пока не настал день, когда письма перестали приходить. Попыталась ли она вернуться в Шанхай, к матери? Добилась ли успеха в Соединенных Штатах? Произошел ли несчастный случай? Несмотря на все мои усилия, я до сих пор ничего об этом не знаю. Может быть, я и помню все неправильно. Я лишь самую чуточку понимала, что стряслось у нее на родине, на родине моего отца, в 1989 году, в конце весны и начале лета, какие события вынудили ее уехать. Здесь, в любимом папином ресторанчике, я задала вопрос, который давно уже мечтала произнести вслух – спросила, участвовала ли она в демонстрациях на площади Тяньаньмэнь.

Ай Мин долго медлила, прежде чем ответить. Наконец, она рассказала мне, как больше миллиона человек были на площади днем и ночью. Студенты начали голодовку, продлившуюся семь дней, и Ай Мин сама ночевала на асфальте бок о бок со своей лучшей подругой – Ивэнь. Они сидели под открытым небом, и им почти нечем было укрыться от солнца и дождя. В те шесть недель, что шли демонстрации, она чувствовала себя в Китае как дома; она впервые поняла, каково это – смотреть на свою родину собственными глазами, через призму собственной истории, пробудиться вместе с миллионами остальных. Ей не хотелось быть обособленной тихой речушкой; быть частью океана – вот чего она желала. Но теперь она ни за что бы не вернулась, говорила она. Когда ее отец умер, она лишилась всего. Она умерла вместе с ним.

Ай Мин сказала, что я всегда буду для нее семьей, всегда буду ее младшей сестренкой, Ма-ли, Мари, Девочкой. Так много было у меня имен, что я ощутила себя деревом с ветвистой кроной. Ай Мин пела обрывки песен, которым научила ее Большая Матушка, и всю дорогу назад мы смеялись. Когда мы пришли домой, я почувствовала, как руки наши мало-помалу исчезают, как перестают существовать очертания наших тел и даже наши лица, так что внутри мы оказались хорошо и надежно спрятаны, стерты из мира. Но это не воспринималось как потеря; мы с радостью приветствовали возможность стать частью чего-то большего, нежели мы сами.

Дома, в нашей квартире, Ай Мин не стала включать свет. Она сделала чай, и мы лежали в темноте и таращились в окна, во двор и на соседние, полные тайн дома. Ай Мин продолжила рассказывать мне историю Книги записей, которая, если уж на то пошло, не пересказывала тридцать одну тетрадь, а повествовала о жизни, что была куда ближе ко мне самой. Историю, в которой содержалось мое прошлое – в которой окажется заключено мое будущее.

\* \* \*

В 1951 году на свадьбу Завитка и Вэня Мечтателя в Биньпай явились певцы и книго-торговцы из Шанхая, ошметинившись музыкальными инструментами и переписанными от руки книгами. Дядюшки Вэня стучали его по спине, посасывали концы длинных трубок и орали: “Жена твоя – сокровище! Старый Запад с небес улыбается, на тебя глядя!” Они играли в карты и так много курили, что густой, как туман, табачный дым валил на улицу и сбивал с толку про-



езжих велосипедистов. Старая Кошка в костюме-тройке танцевала с таким изяществом, что даже Папаша Лютня, который в своем крестьянском наряде весь чесался, расплакался за картами. Затем Старая Кошка предложила тост за “печально известного путешественника, этого великана среди людей, Да Вэя!” Все выпили, в большинстве своем полагая, что это какой-то пройдоха, разбивший ей сердце. Вечеринка все больше выходила из берегов, петляя прочь, точно лишние куплеты к известной песне.

Воробушек сочинил музыку – урезанную сонату с главной темой и ее развитием – и туманным рассветом второго дня свадьбы напел ее Вэню Мечтателю. После того как он закончил, Вэнь эхом отозвался:

– Ты-то, конечно, жрец культа прославленного герра Баха?

Четыре слова в этом предложении Воробушек вообще не понял – но на всякий случай все равно кивнул.

– В таком случае у меня для тебя кое-что есть, – сказал Вэнь.

И одарил его тремя драгоценными пластинками, ввезенными из Америки.

Наконец, на третий день свадьбы, когда день клонился к вечеру, Завиток и Большая Матушка Нож спели дуэтом, и пение их было прощанием друг с другом, с узкими койками и детскими страхами, что они делили на двоих, и открытыми дорогами, что отмечали путь от живительного вдоха – до вдоха. “Я исполнила свой долг перед родителями”, – сказала себе Большая Матушка. Завиток будет жить здесь, в деревне Биньпай, в родительском доме Вэня Мечтателя. Прежде чем отвернуться, она еще раз стиснула сестру в объятиях.

Все проходит, думала Большая Матушка, сидя на нижней полке поезда, увозившего ее домой.

Шелуха семечек трещала под подошвами ее туфель, как огонь. Папаша Лютня повстречал старых приятелей из Ставки и пошел играть в карты к ним в отдельное купе; Воробушек читал брошенный кем-то номер “Вопросов литературы и искусства в Советском Союзе”. Пейзаж катился за окном зелеными и желтыми волнами, словно страна была сплошной не знавшей жнеца нивой. К западу от Сучжоу поезд остановился, и длинная очередь носильщиков принялась суетливо его разгружать. Большая Матушка глядела в окно – и заметила на противоположной платформе женщину своих лет, стоявшую за маленьким ребенком. Девочка, казалось, полностью погрузилась в свои мысли. Руки матери, как бы защищая, лежали у нее на плечах. Большая Матушка зажмурила слепой глаз и прижалась к стеклу вторым.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что женщина неприкрыто плачет. Слезы безудержно лились у нее по щекам. За спиной у нее мелькали солдаты Народно-освободительной армии, с лукавым дружелюбием окружавшие мать и дитя. Прозвучал гудок, и двери поезда захлопнулись. Женщина по-прежнему не шевелилась.

Поезд тронулся, и мать, дитя и солдаты исчезли из виду.

Вернулся Папаша Лютня, полупьяный, с заплетающимися руками и ногами. Он попытался втиснуться на полку рядом с ней, но преуспел лишь частично.

– Хоть ты и сварливая, но это к тебе я возвращаюсь, – с закрытыми глазами пробормотал он. – От мирской суеты – домой.

Большая Матушка хотела сказать ему что-нибудь обидное, но сдержалась. Губы ее мужа от печали сделались тонкими, а лицо постарело. Даже седая щетина выглядела какой-то заброшенной. За окном пейзаж спешил мимо, словно пытаясь стереть все, что появлялось там прежде.

Минул год, а затем еще четыре или пять, и все это время Большая Матушка Нож видела сестру нечасто. У Завитка и Вэня теперь была дочь, Чжу Ли, которая появилась на свет десятифунтовым крепышом – а потом вытянулась в стройное, ласковое дитя. “Девочка, – писала Завиток, – все время поет. Этот ребенок – тайна в самом сердце моей жизни”.



“А потом они вырастают неудачниками”, – написала в ответ Большая Матушка.

Шел 1956 год, и Большая Матушка с семьей жили в Шанхае вот уже почти десять лет. Одному за другим она подарила жизнь еще двум мальчикам с пушистыми волосами и мягкими, треугольными бровками. Папаша Лютя настоял на том, чтобы назвать их Да Шань (Большая Гора) и Фае Сюн (Летучий Медведь). А дальше что, орала на него Большая Матушка, “Вкусная Баранина”? Стены дома в переулке начинали давить на нее, как ставшая тесной куртка. Тем утром, к примеру, Да Шань лез всеми десятью пальцами в вопящее личико младшего брата. А Воробушек был глух ко всему, кроме пластинок, которые взял послушать в консерватории. Ее старший сын вот-вот должен был получить диплом сразу по двум специальностям – фортепиано и композиция, – но ночь за ночью сидел, прижавшись глупой головой к граммофону, точно эта машинка его и родила. Он транскрибировал баховские Гольдберг-вариации в цзяньпу, и буржуазная музыка все порхала и порхала по дому, пока Большая Матушка не начала слышать ее даже в тишине. Тем временем ее геройский супруг руководил очередной земельной реформой и вечно был в отъезде: изгонял помещичье семейство и возвращал бобовые, льняные и просяные поля, да может статься, и самое воздух, народу. А если ему и бывало не до земельной реформы, так тут же появлялись какие-то песенные и танцевальные ансамбли, заседания по политинформации, партийные съезды или частные уроки флейты для очередного влиятельного кадра. Непонятно было даже, преподает ли он еще вообще в консерватории. Дома Папаша Лютя был резок и невыносим и глядел на Большую Матушку и сыновей как на очень грязное окно. Большая Матушка не обращала на него внимания. Это было нетрудно. Оскорбления, что должны были уколоть ее в самое сердце, стали безвредными, как овсянка.

И все-таки миленькие фортепианные нотки поднимали на смех каждое ее движение. Они сочились из кухни в спальню и оттуда в гостиную, как дождь, пропитывали лежащую на столе хурму, зимние пальто семейства и благостную мягкость лица Председателя Мао на сером портрете на стене. Она подумала, что Председатель похож на тесто – а вовсе не на красивого, бесстрастного бойца, каким был когда-то. Раскаяние обвивало ей сердце, руки и ноги; терзало ли оно Председателя Мао? Несмотря на все ее старания, Большую Матушку Нож захлестывало одиночество.

Около полудня, когда сыновья уже ушли в школу, домой неожиданно вернулся Папаша Лютя. Муж с армейским вещмешком за плечами ухмылялся, как после победы в серьезной драке. Его стеганка была перламутрово-голубоватого, в точности как зимнее небо, цвета – если не считать пятнышка чего-то похожего на кровь; и Большая Матушка Нож огорчилась тому, что в дом к ней пожаловал внешний мир – со всеми свойственными ему сортами ненависти, от мелкой до исторической.

– Глупая я, глупая, – сказала она. – А я-то думала, война в сорок девятом закончилась.

Папаши Лютни не было шесть недель, и стоило ему подумать о том, что он вновь увидит семью, как он пустился бежать, едва только свернул в переулок. Равнодушие жены заставило его почувствовать себя нищим попрошайкой. Большая Матушка до сих пор была в ночной рубашке, и кудряшки торчали у нее на голове, как клочья ваты. Папаша Лютя не мог решить – выбрать ее или утешить.

Он бросил “Цзефан жибао” и пачку сигарет *Front Gate* на пол.

– Партия объявила очередную отважную кампанию. Тебе что, не интересно? И почему ты не одета?

– О, замечательно, новая кампания. Как говорит Председатель Мао: “После уничтожения врагов с оружием в руках все еще останутся враги без оружия в руках”.

Он проигнорировал ее тон.

– Ты что, газет не читала?



– Нашу контору закрыли, потому что трубы замерзли, – сказала Большая Матушка. – Все затопило. У нас на предприятии две с лишним сотни человек, и комитету нужно найти нам новое место. Так что мне дали выходной.

– Это не оправдание, чтобы жалеть себя и торчать дома!

Большая Матушка смерила мужа взглядом.

Он вздохнул и попытался заговорить мягче.

– А что, у нас дома поесть ничего нет?

Он снял куртку, пошел к умывальнику и стал пить прямо из крана. Она заметила, что под всеми ватниками одежда Папаша Лютни казалась слишком ему велика – как будто он вдвое уменьшился в размере. Быть может, он пожертвовал свою плоть крестьянам. Она встала, шумно повозилась и наконец шлепнула перед ним какую-то снесь. Папаша Лютня словно неделю не ел. Приговорив гору риса, а с ним и куриную ножку, которая составляла весь их мясной паек на неделю, Папаша Лютня сознался, что скучал по жене.

Та фыркнула.

– Что, настолько там худо?

– Да как обычно. – Он нашел чистую салфетку и вытер сперва рот, а затем все лицо, с силой нажав на глаза. Папаша Лютня всегда был полноват и казался задиристым. Эта новая худоба придавала ему уязвимый, заморенный вид, сбивавший Большую Матушку с толку. Он провел салфеткой по загривку. – Земельная реформа прекрасна, но народ в смятении. И все же мы делаем нужное дело. Никто не может сказать иначе, – словно не сознавая этого, он начал напевать себе под нос “Сорняки не выполоть”.

– Ты – и земельная реформа, – сказала она. – Как будто твоей матери идея.

Папаша Лютня настолько такого не ожидал, что рассмеялся. Но осекся и отрывисто сказал:

– Иди ты к черту, как ты можешь так шутить? Смерти своей ищешь, – руки его, когда он отложил салфетку, как будто дрожали. – Большая Матушка, надо тебе научиться держать язык за зубами.

Она поглядела на косточку у него на тарелке. Дочиста обгрызена.

– Ты ведь дома надолго, так?

– Так.

– Хорошо. Потому что я еду в Биньпай повидать сестру.

– Э? – переспросил он и так высоко вскинул брови, что ей показалось, что они сейчас улетят. – А как же твой муж?

Она взяла косточку и принялась грызть кончик.

– Выживет.

Папаша Лютня улыбнулся было, но затем, обдумав ее слова, нахмурился. Он хлопнул ладонью по столу, подогревая себя до внушительной степени раздражения.

– Большая Матушка, а ну послушай. Ты что, не в курсе, что мы в разгаре кампании не на жизнь, а на смерть? Пожалуйста! Не надо так на меня смотреть. Я тебе говорю, в деревне война.

– Да у вас-то всегда война.

– Ну вот, ты опять! А теперь помолчи и поразмысли.

Стоило Папаше Лютне завестись, как ей уже было его не остановить. Она голодным взглядом уставилась на его пустую тарелку.

– Кое-кого из этих отчаявшихся крестьян, – продолжал он, – надо вынуждать вспомнить, как их унижали. Вынуждать! Их нужно чуть ли не с ума свести от скорби, прежде чем они наберутся мужества взяться за ножи и выгнать помещиков прочь. Естественно, они боятся. Какой крестьянской революции за всю мировую историю везло? – Он вновь потер себя по лысой голове. – Я знаю, о чем говорю, уж не сомневайся. Как бы там ни было, все уже успокаив-



валось, как тут кампания “Ста цветов” снова всех взбаламутила. Поощрять массы критиковать партию! И теперь они своего добились...

– Мой трудовой коллектив мне разрешение на выезд уже дал.

– Твой муж у тебя его забирает.

– Председатель Мао говорит, что женщины держат на своих плечах половину неба.

Она забрала его тарелку, швырнула куриную косточку в мусорное ведро. Большая Матушка промахнулась. Косточка попала в стену и там и застряла.

– Будь образцовым отцом, – сказала Большая Матушка, – и присмотри за сыновьями.

– Тебе обязательно всегда быть такой упрямой? – заорал он. Папаша Лютя перегнулся вперед через стол. – Когда я на тебе женился, такой упертой ты не была.

Это было вполне в его духе. Он взрывался – а затем вдруг сразу успокаивался. Как труба в оркестре.

Впервые за два месяца Большой Матушке чуточку полегчало.

– Это правда, – кивнула она. – Не была.

Дорога от Шанхая до деревни Биньлай занимала девятнадцать часов – на поезде и на микроавтобусе. К концу пути Большая Матушка Нож чувствовала себя так, словно ей переломали обе ноги. С трудом выбравшись из автобуса под мелкую морось, она обнаружила, что стоит в чистом поле. Деревня, которую она запомнила преуспевающей, выглядела теперь уродливо и замызганно.

К тому времени, как Большая Матушка Нож наконец вскарабкалась по горной тропинке к имению Вэня Мечтателя, настроение у нее было паршивое. У ворот ей показалось было, что глаза ее обманывают. Наверняка водитель жулик, и придурок высадил ее в другой деревне или, чего доброго, в другом уезде. И все же... нельзя было отрицать, что кладка дома выглядит знакомо. Ворот во двор больше не было – они попросту исчезли. Завидев свет ламп, Большая Матушка прошествовала через внутренний двор в южное крыло. Повсюду валялся мусор, словно отличный дом вот-вот собирались снести. Входя, она заметила полдюжины ползущих по полу привидений. От ужаса Большая Матушка Нож чуть дух не испустила (как говаривал ее отец), но затем поняла, что это не привидения, а люди. Люди, деловито сбивавшие плитку и разбиравшие полы.

– Приветствую, товарищи сестры! – сказала она.

Одно привидение прекратило копать и поглядело на нее.

Большая Матушка не отставала.

– Вижу, вы заняты восстановительными работами? Все мы обязаны строить новый Китай! Но не подскажете ли, где мне найти семью, которая здесь проживает?

Таращившаяся на нее женщина сказала:

– Вышвырнули их. В расход пойдут как преступники.

– В поход как преступники? – переспросила Большая Матушка. Первым ее побуждением было рассмеяться. Она решила, что ошибочно расслышала “цзинь лю” – “на казнь, в расход” (#) вместо “цзинь лю” – “в поход” (##).

Другая женщина рукой изобразила пистолет, выстрелила себе в висок и оскалилась в леденящей усмешке.

– Сперва мужа, – сказала она. – Потом, – она снова выстрелила, – жену.

– Они серебряные монеты под полом закопали, – сказала другая. – Эти деньги принадлежат деревне, они сами знают, и мы их все найдем.

Большая Матушка вытянула было руку – но стена была от нее слишком далеко.

– А вы вообще кто такая? – спросила женщина с воображаемым пистолетом. – Лицо у вас знакомое.



– Мне вот интересно, кто дал вам разрешение тут быть, – сказала Большая Матушка. Она услышала, что голос ее дрожит, и сама пришла от этого в ярость.

– Разрешение! – заухала женщина.

– Разрешение, – эхом отозвались остальные. Ухмылялись они так, точно это она была привидением.

Большая Матушка развернулась и вышла. Она медленно пересекла внутренний двор – до самого фасада. Здесь силы ей изменили, и она присела на низенькую кирпичную стену в сотне ярдов от входа. Никто за ней не пошел, и внутри продолжали мерцать керосиновые лампы. Теперь она слышала, как стучат их лопаты. Черепаший сын, вот он кто, водитель того автобуса! Он совершенно точно высадил ее не там. Предостережения Папаши Лютни так и вертелись в голове. Она потянула себя за волосы и постаралась проснуться, с силой надавила себе на лицо – но что бы она ни делала, веки ее отказывались подниматься, и сон не кончался. Она обвела взглядом все вокруг и увидела, до чего нелепы ее дорожная сумка, грязь под ногами, серый дом и уже проступавшие на небе крошечные звезды. Придется ей вернуться в дом и все выяснить. Да, придется. Ночь была странная, ветреная, и с холма до нее доносился пронзительный вопль. Да что за призраки явились в это место? Теперь ей слышались крики, все ближе и ближе, и звон гонга. Похороны, глухо подумала она; и все же Большая Матушка не встала и не отступила.

По дороге поднималась толпа, собираясь в процессию. Большая Матушка заставила себя подняться на промерзшие ноги. Она понятия не имела, сколько тут сидит, но женщины с лопатами уже разошлись по домам. В тумане и в радостном возбуждении они даже не заметили ее, проходя мимо.

По мере приближения шествия Большая Матушка различала их голоса все четче. Хотя там действительно имелись гонг и колокола и время от времени толпа раздражалась пением, то были не похороны. Какие-то слова повторялись: “встань”, “имей мужество”, “нечисть”, но выкрики были странно расчленены, словно за власть над лозунгами сражались враждебные друг другу вожди.

Во главе процессии, неестественно скорчившись, семенил Вэнь Мечтатель. Рядом с ним шла женщина. Волосы Завитка спутались и растрепались. Она шагала, склонившись вперед практически горизонтально, словно тащила на спине тяжелую мебель – вот только ничего подобного у нее за спиной не было. Расстояние между ними сократилось вдвое, а затем – еще вдвое. На Большую Матушку надвигались бешеные лица, стонущие и плачущие. Всех слов ей было не разобрать, но она расслышала:

– Почтим Председателя!

– Смерть нечисти!

– Да здравствует наша великая земельная реформа!

Я в самую смерть пришла, подумала Большая Матушка. Теперь ей было видно, что руки ее сестры связаны за спиной так, что оба локтя были задраны в воздух. Все, казалось, были подогреты еще и изнеможением, словно их только что подняли с постели. Колонна растянулась вдоль дороги, но была так поглощена собственным шумом, что и они тоже не заметили Большую Матушку. Замыкающий, маленький мальчик, который еле успевал за остальными, бросил взгляд в ее сторону – но не задержал на ней глаз. Он поспешил дальше.

Большая Матушка встала и, оставив между собой и шествием широкий зазор, зашагала следом. Шествие продолжалось еще по меньшей мере час. В конце концов, прямо перед опушкой леса, крики угасли и люди растеклись в стороны, как ручейки. К тому времени, как Большая Матушка дотуда дошла, ее сестру с Вэнем уже развязали, и они нелепо стояли поодаль сами по себе – осторожно проверяя спины, медленно потягивая руки. Веревки, которыми их связали, они забрали с собой – словно то были их единственные пожитки.

– Сестрица, это что, правда ты? – сказала Большая Матушка.



Завиток развернулась, уставившись в темноту.

– Малышка Завиток, – повторила Большая Матушка, боясь коснуться этой женщины, – это правда ты?

Ни той ночью, ни на следующие ночи Большая Матушка так и не добилась всей правды. Ее сестра упомянула лишь, что эти марши – “сессии борьбы”, как она их называла – длятся вот уже три месяца.

– По большей части ничего серьезного они не делают, – сказала Завиток. – Выводят нас на школьный двор и клеймят там как помещиков. Нам приходится стоять на коленях, но на самом деле им нужна лишь подробная самокритика. Иногда, вот как сегодня, нас водят по деревне.

Большая Матушка не могла сдержать ярости.

– А в остальное время?

Завиток бросила взгляд на Чжу Ли, свернувшуюся у отца на коленях, и промолчала.

Говорили все шепотом, словно боясь пробудить не то божеств рока, не то, чего доброго, самого Председателя Мао. Хижина с земляными стенами и соломенной крышей изначально предназначалась для скота – уж это-то было совершенно очевидно. Большая Матушка задумалась, куда же делись выселенные коровы и свиньи.

– Мы не мучаемся, – сказала ее сестра.

– Это было неизбежно, – сообщил ей Вэнь Мечтатель голосом не громче, чем дымок над чашкой чая. – Должна же была в конце концов быть восстановлена справедливость.

Вот так вот и прошли в молчании два дня и две ночи, ранившие Большую Матушку до глубины души. Подробных объяснений ей не требовалось; было абсолютно ясно, что именно тут происходит. Но в Шанхае ей не доводилось быть непосредственной свидетельницей того, как проходит земельная реформа. В городах новое жилье распределялось по людям всякого происхождения и каких бы то ни было политических взглядов. Те, кто потерял свои дома, получали новые. Это считалось частью восстановления страны после войны.

На третью ночь Большая Матушка лежала на канге рядом с сестрой и девочкой, Чжу Ли, которой исполнилось уже пять лет. Малышка бодро сопела во сне. Канг, нагретый снизу от близости угольной печи, походил на реликвию, вынутую из гробницы. Чтобы всем хватило места, пожилой матери Вэня пришлось пойти пожить у родни.

Несмотря на сравнительное тепло нагретой постели, сестру ее так и трясло.

– Расскажи мне что-нибудь, – сказала вдруг Завиток. – Хоть немножечко, просто чтобы мне не думать об этом месте.

Большая Матушка несколько раз сглотнула, чтобы увлажнить пересохшее горло. Снаружи курил Вэнь; тонкие стены с тем же успехом могли быть тряпичными. Она рассказала сестре о Воробушке и его братьях, о музыке цзянпу, заполнявшей страницу за страницей. Воробушек ни на миг не прекращал сочинять. Он, думала Большая Матушка, даже не дышал – он выпускал музыку.

– Мальчишки у меня энергичные, а уж потаенных мыслей у них не меньше, чем в целой телеге книг. Мать никогда не знает своих детей так хорошо, как думает.

– Как это верно, как верно, – выдохнула ее сестра.

Большая Матушка рассказала, что возвращалась в старую чайную, где они когда-то пели – в чайную “Лиловая гора”.

– Название они поменяли, – сказала она. – Теперь это Дом народного отдыха “Красная гора”.

Завиток хихикнула.

– Отдельные комнаты все закрыли, а подают теперь только чай и дынные семечки. Но все равно, все, кто раньше приходил поболтать, выпить немного или набрать спиртного в бидон, и теперь приходят. Даже певцы есть, которые исполняют новый репертуар: “Красный Восток”,



“Песня партизан” и все такое прочее. Будоражит, кто бы спорил! Даже мне, когда я это слышу, хочется чего-нибудь свергнуть. Но проходит время, и от революционной музыки начинают болеть уши. В ней нет ностальгии, нет места, чтобы людям поделиться своими печалью. Естественно, – поспешно прибавила Большая Матушка, – в новом Китае от наших прежних печалей и следа не осталось.

Затем она описала нескольких завсегдатаев, в том числе и тех, кто до сих пор приходил с иволгами и дроздами, а также сказителей и певцов баллад, которые теперь исполняли эпос о Великом походе Председателя Мао – в пятидесяти суровых частях.

– Помнишь книгу, про которую я тебе говорила? – спросила Завиток. – Тридцать одну тетрадку? Книгу записей.

Большой Матушке с трудом удавалось расслышать ее голос, хоть они и лежали, свернувшись на узком канге в обнимку.

– Ты ее сожгла, я надеюсь? Если что-то способно внушать такую преданность, то оно наверняка запрещено.

– Сжечь Книгу записей? – переспросила сестра. Что-то полыхнуло у нее в голосе. Негодование. – Как я могла, по-твоему, такое сделать?

– Чтобы спасти себя, – сказала Большая Матушка.

– Даже чтобы себя спасти, не смогла бы.

Книга все еще пребывала в укрытии в фамильном доме. Между страницами были заткнуты все письма, что Вэнь Мечтатель писал Завитку. Когда голодные призраки не найдут серебра, они взломают стены. Ничто сокровенное не останется незамеченным. Завиток рассказала про закодированные имена, про то, как менялись идеограммы для Да Вэя и Четвертого Мая; и, кажется, ссылаясь на какую-то точку на карте. Большую Матушку пробрало кошмарным холодком. И любовных писем мало не показалось бы, но что вообще было в этой книге? Что, если окажется, что ее написал изменник-националист? Да их всех до восемнадцатого колена поймеют.

– Мне надо вернуться в дом, – сказала Завиток. – Я должна забрать эти тетради обратно.

– Не будь душой.

Сказано это было сурово – но Завиток словно не услышала.

– Дедушка Вэня тоже был переписчиком – ты знала? В земле закопаны книги, хранившиеся столетиями – все те, что Старый Запад привез из Америки. – Она натянула одеяло до подбородка, так что видно было только ее глаза и переносицу. – Всему на земле отмерен свой срок, а затем, как то и положено, мы вынуждаем его исчезнуть. Словно новое не произошло от старого. Словно старое не произросло из нового.

Большая Матушка заколебалась – а затем мягко спросила:

– Но что тут за переворот творится?

– Ты что, не видела? Я думала, земельная реформа до каждого уголка уже дотянулась. Во время войны... никогда не забуду те ужасы, которые нам пришлось видеть. Я понимаю, почему ничто не может остаться прежним.

– Само собой, но...

– Когда все будет сломано, они смогут снова построить общество.

Как часто говорила ее сестра эти слова?

– Они? – переспросила Большая Матушка. – Ревкомитеты? Коммунистическая партия?

– Говорят, что это колесо истории. Я не боюсь. Знаешь, как это бывает – одному не остановить потоп от рухнувшей плотины. Только... за Чжу Ли мне тревожно. Она родилась не с той классовой принадлежностью – она дочь Вэня Мечтателя. Дочь помещика. И что бы я ни делала, этого не изменить. А если я не смогу ее защитить?

– Поезжай со мной в Шанхай. Мой никчемный муж может это устроить.



– Это колесо истории, – сказала Завиток. В голосе ее не было слез – лишь хрусталь прагматизма. – Партия говорит, что только виновные пытаются избежать наказания. Если мы сбежим, даже Папаша Лютя не сможет вмешаться. Нельзя так рисковать. Я должна защитить Чжу Ли, но как?

Много позже, в те годы, когда Завиток уже освободилась из трудовых лагерей в пустыне, когда Чжу Ли уже выросла в молодую женщину, Большая Матушка наконец сложила эту историю воедино.

Партийцы прибыли в Биньпай как раз в тот день, когда Вэнь со своими дядюшками таскали лед с горного озера. То был тяжкий труд, но он того стоил – поскольку, если укрыть его соломой, лед мог храниться много месяцев, а применение ему всегда находилось.

Прежде дядюшки нанимали работников, но теперь предпочитали заниматься такой работой сами. В прошлом году, когда перераспределение земель докатилось и до Биньпая, братья не стали тратить время на споры. Бывали жребии и много горше, чем отказаться от нескольких акров земли. В соседнем уезде против дюжины человек устроили борьбу – что-то вроде большого митинга, на котором выкрикивали обвинения, а обвиняемых били и иногда пытали – и казнили их, но покойные были по большей части богачи, печально известные своей жестокостью. В прошлом году, когда делегаты от крестьянского союза Биньпая явились к их воротам, братья не стали противиться и отказались от прав собственности на все семнадцать акров семейных владений, которые теперь должны были перераспределить между жителями деревни. Допустим, жена Эр Гэ от него ушла, но у него еще оставалось двое взрослых детей. А Цзи Цзы грозился покончить с собой, но его слов никто не принимал всерьез. Тем временем жизнь продолжалась: пока земельная реформа не завершится, поля все равно следовало пахать, а за фруктовыми садами – ухаживать. В том году урожай сладких яблок выдался, на памяти братьев, самый обильный.

Когда тележка, жалобно скрипя, катилась к воротам, Вэнь с дядюшками с удивлением узрели, что снаружи стоят два незнакомца, а с ними председатель сельсовета, он же председатель крестьянского союза. Да Гэ вышел из-за глыбы льда. Он поприветствовал посетителей и пригласил их в дом, разделить трапезу. Председатель отказался. Все это было довольно неловко, и Да Гэ, всегда бывший нетерпеливым, сказал:

– Ну, если ничего срочного, то мы вернемся к работе. Лед ждать не будет.

Вмешался незнакомец, который до сих пор не представился. Внизу, в сельской школе, уведомил он их, идет митинг, а братья опаздывают.

Председатель шагнул вперед.

– Эти два учителя, – сказал он, указывая на чужаков, – пришли к нам из самого уездного комитета партии. И конечно же, зная, как значима ваша семья в Биньпае, не могли же мы начать митинг без вас.

Молчание во дворе, казалось, эхом отражалось от льда и кирпичей. И где вообще все? Ни Да Гэ, ни его братья вот уже почти шесть часов ничего не ели. И все же он вывел родичей и Вэня за ворота и пошел следом за чужаками и председателем.

В здании начальной школы Завитка с дочерью отогнали в сторону; там они и еще двадцать с чем-то человек стояли на коленях на холодной земле. Были там и жены дядюшек Вэня; их привели под стражей, и теперь они стояли на главном помосте. Толпа насчитывала уже не одну сотню человек, но на митинг прибывали все новые и новые люди. Жену Да Гэ постоянно лупили и пинали, пока она не взмолилась о пощаде. Суровая, не терпящая праздной болтовни женщина хорошо за пятьдесят была в совершенной истерике. Она скребла землю руками, точно пыталась отыскать во льду монетку.



Чжу Ли давно прекратила плакать. Она цеплялась за мать в полном молчании. Завиток не отваживалась попытаться ее успокоить. Когда доберусь домой, сказала она себе, согрею воды, намочу тряпочку и утру ее замерзшие слезы. Ничего страшного. Ничего такого, чего нельзя было бы смыть теплой водичкой.

Теперь явились мужчины – четыре брата и ее Вэнь. Их окружили и споро связали. Завиток слышала, как кричит Да Гэ. Ее дочь слабо звала: “Папа!” Завиток закрыла Чжу Ли собой, думая, что нельзя девочке ничего видеть, нельзя ничему случиться. Но тут возникли чьи-то руки и вырвали у нее Чжу Ли. Из толпы малышке велели открыть глаза – ей пора было учиться. Завиток с трудом поднялась на ноги и попыталась отобрать дочь обратно, но остальные двигались решительно и жестоко. Подняв глаза от пола, она увидела, как какой-то мужчина поднял Чжу Ли на худые плечи. Девочка сидела, не шевелясь, уставясь прямо перед собой.

Прибытие Вэня Мечтателя и его дядюшек заново оживило замерзающую толпу. Наперебой зазвучали новые обвинения. Один вспоминал о голоде и о том, как продал свою землю Да Гэ за бесценок.

– Грабеж! – заорал кто-то. – Когда тебе повезло, ты взял и втоптал ближнего в грязь! Как бы еще ты так быстро заполучил больше семнадцати акров?

Брат жены Эр Гэ обвинял Эр Гэ в том, что тот дурно обращался с нею, бил ее и даже не давал ей есть. Эр Гэ это отрицал, он попытался кинуться в драку, но тут же подбежали другие и сшибли его на землю. Царил форменный хаос. Чужаки рассыпались по толпе и спрашивали у людей:

– Кто вас бил? Кто унижал ваших отцов и насиловал ваших дочерей? Они?

– Это... это были...

– Кто разбогател во время войны?

– Да эти помещики думают, что от клочка земли от них не убудет. Думают, что вам бы на колени встать да благословить их за это!

– Пора нам освободиться! – в голосах их звучала жажда возмездия, но также и скорбь, и плач.

– Товарищи, имейте мужество раз и навсегда встать плечом к плечу!

– Жизнь за жизнь!

– Кто вас унижал? Скажите нам. Это не ваш позор! К чему вам его сносить?

В круг ворвалась женщина. Она указала на мужчину в темно-синих одеждах.

– Этот человек изнасиловал меня, когда мне было шесть лет, – сказала она. – Он закрыл мне лицо платьем моей матери и... – Прижимая руки к животу, она принялась всхлипывать. – Это было только начало. Он понимал, что отец моей умер и заступиться за меня некому. Этот зверь, это чудовище! Он наслаждался каждым миготом боли, которую мне причинял.

Кто-то вложил ей в руки лопату. Сперва она была слабо, словно ей двигала лишь скорбь, не ярость. Но выкрики толпы ее раззадорили, и лопата обрела новый, решительный ритм. Она продолжала бить лопатой даже тогда, когда это уже ничего не меняло.

– Двадцать лет войны – и ради чего? Чтобы нас снова вышвырнули в сточную канаву?

– Я до смерти упыхивался, чтобы собрать пять дан зерна. А ты при этом четыре дана забирал за аренду, – сказал Да Гэ какой-то человек. – Мы ели рисовую шелуху, пшеничную, просяную. Мои дети голодали с рождения. Но что тебе до твоих испошников? Они для тебя просто удобрение!

– Я предложил тебе честные условия... – начал было Да Гэ, но его слова тут же потонули в криках толпы.

– Честные? – горько рассмеялся человек.

– Плати по счетам! Все должны платить по счетам!

– Если вы сейчас с ними не разберетесь, – спокойно сказал чужак, – эти помещики дождутся, пока мы уедем, а затем перебьют вас по одному. Не бывает революции наполовину.



На помещиков обрушился шквал презрительных насмешек. Общее возбуждение нарастало. Привели еще одно семейство, и последовали новые обличения и рассказы о преступлениях. Взятые вместе, их истории складывались в обвинение, которого никто не мог отрицать.

– Разве не твои это соотечественники? – напустился на Вэня какой-то мужчина. – Разве не твое это преступление?

– Мое, – сказал Вэнь.

Мужчина отвесил ему пощечину.

– Твое преступление?

– Я это признаю. Принимаю, – вскрикнул он.

У Вэня из носа пошла кровь. Мужчина продолжал бить его по щекам, словно наказывая ребенка. Толпа смеялась – с резким, блеющим призывом. Двоих стоявших на помосте мужчин били ногами до тех пор, пока те не перестали шевелиться. Когда появились пистолеты и Да Гэ с женой расстреляли, Завиток решила, что ей это чудится. Запалили факелы, а остальные требовали все больше убийств. Она увидела, как вперед выволокли Вэня. Ее муж молил о пощаде. От него отвели ствол, затем снова навели, отвели, навели. Ее дочь рыдала, пытаясь высвободиться из негнущихся рук чужака. “Папа! – вопила она. – Папа!” Эр Гэ выстрелили сперва в грудь, затем в лицо. Расстреляли еще троих. Один все никак не умирал, и пришлось его забить. Завиток почувствовала, что теряет сознание. Казалось, отовсюду на нее накатило гробовое молчание.

– Уже все, – сказал кто-то.

Она подняла голову и пошарила во мгле глазами. Над ней склонилась женщина. Это была жена председателя, совсем еще девочка, которая порой приходила посидеть с Завитком в сельской школе, чтобы поделиться городскими байками и выучить несколько песен.

– Иди домой, – шепнула она. – Завтра ваш дом займет крестьянский союз, но выше по холму есть пустые хижины. Вас переведут туда. Без крыши над головой вас не оставят. Они лучше, чем помещики прошлого.

Голос девушки истаял, и облик ее смешался с тенями. Чжу Ли, вся перепачканная, теперь дергала Завитка за руки. Когда Завиток наконец подняла глаза, то увидела, что Вэнь согнулся над телами двух своих дядей и тщится взять на скорченные руки труп Да Гэ.

Но все это Большой Матушке Нож еще долго не рассказывали. Завиток молчала, и Вэнь тоже. В то время Большая Матушка не вполне сознавала, что преследования и обличения все еще продолжались. Никого больше не казнили. Напротив, Завиток заметила, как неловко держатся те, кто заносил лопаты, бил, жал на спусковой крючок. Столкнувшись на проселочных дорогах с Вэнем, они таращились на него в страхе, словно это Вэнь убил человека. И даже если он и не сделал этого собственноручно – то уж конечно, если бы его не было, никакого насилия бы и не понадобилось. На этой высоте туман никогда не отступал. Собственной тени человек и то не видел.

На четвертую ночь своего визита Большая Матушка лежала без сна. Да вся эта землянка вместе взятая, думала она, теснее кладовки в прежнем доме Вэня Мечтателя. Прохудившуюся соломенную крышу следовало заменить – звуки она издавала такие, словно дух предка ежил на ветру. Большая Матушка закрыла глаза, и в памяти у нее всплыл отрывок из известного стихотворения, что она читала наизусть на свадьбе у Завитка:

Свадьба девицы вдали от родителей —  
Как лодчонку пустить по великой реке.  
Когда мать опочила, ты юной была,  
И от этого нежность моя к тебе лишь возросла.  
А сестра тебе старшая мать заменила,



И теперь вы в слезах, и не в силах расстаться еще,  
Но тебе уж своею дорогой идти...

Слова эти были родом из прежней версии этой страны, из очередного сна. На канге малышка Чжу Ли ткнула Большую Матушку пятками в спину, словно говоря: «Тепла на всех не хватает! Грей-ка меня, старушка, или иди куда хочешь». И как только такому щуплому существу удавалось занимать столько места? Будучи сыта этим по горло, Большая Матушка выбралась из постели. Маленькая чертовка удовлетворенно заурчала, раскидываясь поверх оставленного ею тепла.

Большая Матушка отыскиала свои туфли. Она яростно их вытрясла. Удостоверившись, что внутри не угнездились никаких кусачих созданий, она сунула ноги в туфли, застегнула поверх второго свитера подбитую ватой куртку, надвинула поглубже шерстяную шапочку и вышла на улицу.

Зимний воздух оказался не так ужасен, как она боялась. Большая Матушка покосилась здоровым глазом сперва направо, затем налево, уясняя свое местонахождение. Луна окуталась облаками, так что Большая Матушка доверилась компасу у себя в голове и шла вниз по холму, пока деревья не расступились и вокруг не распростерлась заснеженная земля. На хрусткой белизне лежала упавшая ветка. Большая Матушка ее подняла.

– Ну почему я не сплю, – спросила она себя, – и против кого мне это оружие?

Ее сердце, до того так и колотившееся, успокоилось. Когда Большая Матушка дошла до нарядного дома, она не колебалась. Она вскинула палку, уверенно прошагала через лишенный ворот вход и поднялась по первому лестничному пролету.

Ее здоровый глаз мало-помалу приспособился к полумраку. То тут, то там она различала груды мусора – но ни следа мебели.

Тем утром она невинно осведомилась у Завитка, трудно ли добраться до предмета, что та хотела бы изъять.

– И да, и нет, – сказала Завиток. – Помнишь в восточном крыле ступеньки, которые ведут наверх, в альков?

Ступеньки шли наверх не до самого конца, поведала ей сестра, а служили лестницей, с помощью которой можно было достичь высоко подвешенной полки – очень длинного и узкого выступа.

– На дальнем конце, под крышей, есть небольшая ниша. Добраться до нее – сплошная головная боль, можно поскользнуться и шею себе свернуть. Крестьянский союз наверняка начнет сперва искать там, где попроще.

Большая Матушка пошла по комнатам дальше. Теперь она очутилась у ступенек в альков. Отставив в сторону трость, она остановилась, дабы принести стихотворение в жертву божеству книг – потому что, в конце концов, таинственные тетради проходили по его ведомству. Она прочитала наизусть:

Когда ум возвышен,  
Тело теряет тяжесть  
И чувствует, будто парить способно по ветру.  
Город этот прославлен как средоточие писем;  
И все вы, о прибывающие сюда писатели,  
Доказательство тому, что великая слава земли  
Добывается лучшим, нежели богатством.

Она пошла наверх.



Выступ, когда она до него добралась, и в самом деле оказался узким – едва ли полфута в ширину – и простирался по стене довольно далеко. Призраки, впрочем, оказали ей услугу, обчистив полку догола – теперь на ней не имелось никаких препятствий.

Неуклюже, как голубь, она шагнула на полку, проклиная свой плотный ватник. “Я отказываюсь, – сказала она себе, – кончить жизнь на полу мешком с костями, и чтоб сестра выносила мой труп”. Большая Матушка засеменила вдоль полки. Она чувствовала, как потеют в туфлях ее ноги, и прокляла книжное божество за то, что оно не подсказало ей взять с собой Летучего Медведя. Уж ее младшенький был бы только рад поучаствовать в такой глупости. Наконец Большая Матушка нащупала край полки, слепо пошарила в поисках тайника, но тщетно. Потянувшись еще раз, она потеряла равновесие. Бедро щелкнуло, и она судорожно замахала рукой в поисках опоры; но поймала только воздух. Одна нога соскользнула с выступа. Большая Матушка изо всех сил подалась вправо. Врезалась в стену, широко размахнулась правой рукой, и тут, стоило только ее мыслям замедлиться, а ей самой – понять, что вот ей и конец, как ее пальцы налетели на нишу. Большая Матушка уцепилась за нее как за последнюю соломинку, так крепко стиснув пальцы, что почувствовала, как скребут друг о друга косточки. Комната встала на место. Большая Матушка все еще стояла – одной ногой зависнув в воздухе.

Она было рассмеялась, но по зрелом размышлении посерьезнела. В нише, как и сказала Завиток, обнаружилась картонная коробка. И все же Большая Матушка хотела быть совершенно уверена и поэтому развязала одной рукой шнурок, спихнула крышку и сунула руку внутрь. Она никогда прежде не держала в руках этих тетрадей, но их поверхность показалась ей совершенно знакомой – словно ее пальцы касались Книги записей уже тысячу раз.

– Старый боже, – радостно сказала она, – не стоило мне тебя ругать. Ты только погляди, что я нашла!

Подхватив коробку одной рукой, Большая Матушка вперевалку поковыляла по балке обратно, спустилась на площадку, сошла по ступеням и вновь завладела своим оружием.

Затаив дыхание, она возвращалась по своим следам. Трость хорошо ей служила, напоминая о зрячей девочке, что вела слепых музыкантов сквозь рокот войны, прочь от стертого с лица земли города. То было целую жизнь назад, и девочка сейчас должна была уже вырасти. Большая Матушка поспешила по проходу, что вел во внутренний двор, пока наконец не выбралась, отчаянно глотая свежий воздух, под ночное небо. До звезд в их ясном сиянии, казалось, было рукой подать. Что же отворяло столько дверей в ее памяти, неужели эта самая коробка? Да что за создание такое была эта книга? Большая Матушка подумала о малыше Завитке – том, который умер в сорок втором. Он был старше Воробушка всего на несколько лет, но, в отличие от Воробушка, никогда вроде бы не боялся выстрелов, взрывов, криков и пламени. Она помнила, как вынимала его тельце из рук сестры и как слезы Завитка словно прожигали ей кожу.

Этот дом, полагала она, рано или поздно обратится в руины. Он исчезнет с лица земли и не оставит по себе ни отпечатка, и все книги и рукописи, что Вэнь Мечтатель с матерью, дядюшками и Старым Западом хранили с таким тщанием – или же со страхом – обратятся в прах и в пыль. За исключением, быть может, лишь этой книги, что отправится в новое укрытие, чтобы существовать и впредь.

Той ночью Воробушек проснулся в темноте. Музыка сочилась из стен, наполняя комнату, в которой спали он сам и два его младших брата. Музыка мешалась с неровными всхрапываниями мальчишек, словно те играли в унисон в одной оркестровой группе. Пятилетний Летучий Медведь был маленький, хорошенький и храпел, как танк. Он, должно быть, пихал брата ногами во сне, потому что Да Шань вжался в стену, уступив и одеяло, и подушку. В свои семь лет Да Шань уже был аскетом, предпочитавшим всему кипятку и паровые булочки; мальчик решительно намеревался вступить в Народно-освободительную армию при первой же возможности.



Воробушку приснился сон. Во сне он шагал по первому этажу Шанхайской консерватории, мимо комнаты, где, словно статуэтки в витрине, выстроились скрипачи, мимо величественных покоев с гучжэном, пипой и дульцимером, пока не пришел наконец в зал, где, как могучие дубы, стояли семь концертных роялей. За мерцающими окнами выпускало дух ночное небо и обращалось в утро. Старый Бах явился в Шанхай собственной персоной; он уселся за самым дальним роялем. Седьмой канон Гольдберг-вариаций Баха катился к Воробушку, словно приливная волна печали. Воробушек хотел было отойти с дороги, но замешкался, и в него врезались ноты. Они бегали вверх-вниз у него по позвоночнику и словно разбирали его на тысячи кусочков одного целого, где каждая часть была полнее и живее, чем когда-либо доводилось быть всему его “я”.

Лежа в постели, Воробушек гадал, снился ли когда-нибудь герру Баху Шанхай. Он откинул покрывала и встал. Завидев, что Летучий Медведь захватил себе всю кровать, Воробушек передвинул его на место; мальчик злобно заблеял во сне. Да Шань, почуяв вокруг свободное пространство, откатился от стены обратно. Воробушек вышел из комнаты.

По дому тоненькой струйкой бежали ноты. Он забыл надеть шлепанцы, и пол обжег его холодом, но все же Воробушек шел, пока не добрался до отцовского кабинета. Дверь была открыта, и в щелку сочилась музыка. Зная, что отец рассердится, если его увидит, Воробушек не издавал ни звука, ни шепота. Так что, когда Папаша Лютя его окликнул, он сперва даже и не знал, что ответить.

Отец вновь нарушил молчание.

– Воробушек, тут тепло. Заходи.

Воробушек вошел в комнату.

Папаша Лютя сидел на низком стульчике перед патефоном. Он сгорбился, почти что уял и был сам на себя не похож. Квартира без Большой Матушки Нож становилась совершенно пуста, заключил Воробушек. Ее вечное недовольство и ругань были такой же основой их жизни, как балки дома, пища, что они ели, и членство отца в Коммунистической партии.

– Я уже сто раз слышал эту пьесу, – сказал Папаша Лютя. – Но слушать ее в одиночестве, ночью, это воистину что-то.

От густого дыма отцовских сигарет *Flying Horse* глаза Воробушка заслезились, но все же он прошел дальше в комнату и сел за отцовский стол. Папаша Лютя возражать не стал. Музыка продолжала играть, мешаясь с дымом, теперь – быстрая и легкая, с нотами размытыми, как порхание крыльев, как истончающаяся ветка. Папаша Лютя склонил голову. Он прикрыл глаза, словно глядя на что-то у себя внутри. Когда закончилась вторая сторона, он перевернул пластинку и снова поставил ее играть. Девятая вариация вынудила Воробушка положить голову на стол. Он хотел лишь одного – поселиться в этих Гольдберг-вариациях, чтобы они вечно простирались все дальше и дальше у него внутри. Он хотел знать их так же хорошо, как собственные мысли.

– А что, если там беда? – сказал Папаша Лютя. – Она что, думает, у них иммунитет?

Воробушек поднял глаза. Кто это – они, удивился он.

Желая прозвучать как сын героя-коммуниста, Воробушек сказал:

– Можно поехать и ее спасти.

Отец промолчал.

Музыка продолжала играть.

Воробушек вышел в лунный пейзаж пятнадцатой вариации бок о бок с отцом – и все же отдельно от того. Гленн Гульд играл и играл, зная, что музыка написана и пути проложены, но озвучивая каждую ноту и интервал так, словно никто и никогда их прежде не слышал. Музыка была столь утонченной и вместе с тем столь осязаемой, что Воробушек громко вздохнул при мысли о том, что, даже сочиняй он музыку сто тысяч лет, ему никогда не достичь подобного изящества.



– В музыке нет будущего, – сказал Папаша Лютня. В голосе его не было упрёка. С тем же успехом он мог бы сказать, что комната квадратная, а в отечестве двадцать две провинции, один автономный регион и население в пятьсот двадцать восемь миллионов человек. Воробушек слушал, как если бы отец говорил с кем-то другим – например, с портретами Председателя Мао, премьера Чжоу Эньлая или вице-премьера Лю Шаоци, что мудро взирали на него со стен. Лицо отца вполне соответствовало на вид портретам. – Когда ты был ребенком, то еще ладно, мечтателем было быть нормально. Но теперь-то ты поумнел чуть-чуть, нет? Неужели не пора уже читать газеты и строить свое будущее? В новом мире надо учиться жить по-новому. Тебе бы прилежней штудировать марксистско-ленинско-маоистскую мысль! Надо тебе включаться в революционную культуру. Как сказал Председатель Мао: “Если хочешь получить знания, то участвуй в практике, изменяющей действительность. Если хочешь узнать вкус груши, то тебе нужно ее изменить – пожевать ее... Если хочешь знать теорию и методы революции, то тебе нужно принять участие в революции”.

Тут на них величаво нахлынула шестнадцатая вариация – грандиозное, расцветное трелями вступление. Ноты сменяли друг друга все быстрее, и Воробушек словно уносился вдаль вместе с ними. Ему привиделась огромная площадь, залитая солнечным светом.

– Когда ты практически живешь в консерватории, – продолжал отец, – когда захлопываешь за собой дверь репетиционной, ты что, думаешь, никто тебя не слышит? Ты что, правда веришь, что никто не замечает, что ты семьдесят девять дней подряд играл Баха, а до того тридцать один день подряд – Бузони?! Снизойти до эрху, пипы или саньсяня тебе не с руки. А я-то так много сделал для земельной реформы! Я был образцовым отцом, никто тебе другого не скажет... – Папаша Лютня угрюмо выпил и замолчал. – Что тебе дались этот Бах и этот Бузони? Какое тебе-то до них дело?

Отец поднялся и обошел комнату, пока не очутился нос к носу с портретом премьера Чжоу Эньлая.

– Ну, конечно, и Баху было чем заняться, – признал Папаша Лютня. – Бедный сукин сын не меньше дел имел, чем наш генсек: что ни неделя, то месса, fuga, кантата, как будто Бах – это вам завод какой, а не живой человек. Но Воробушек, ты на мою жизнь посмотри.

Премьер Чжоу на портрете выглядел так, точно сочувственно кивает.

– Каждую неделю по пятьдесят выступлений в школах, в деревнях, на заводах, на митингах! Я – машина на службе партии и, если надо, буду выступать даже на смертном одре. Старина Бах понимал, что музыка служит высшему благу, но я-то этого разве не понимаю? А Председатель Мао разве не понимает?.. В глубине души ты, Воробушек, думаешь, что иностранец – лучший товарищ, чем твой собственный отец, – Папаша Лютня испустил тяжкий вздох. – И что же он тебе такое обещает? Когда-нибудь ты больше не сможешь выезжать на Бахе, и придется тебе уже делать что-то свое, разве нет?

Снаружи мир был погружен во тьму, и молоденькое зонтичное деревце во дворе словно держало на своей жидкой кроне весь гнет зимней ночи. Воробушку страстно хотелось, чтобы можно было перевести стрелки часов вперед, промотать год, а потом еще, пока его симфонии не зазвучат в зале Консерватории. Он воображал себе исполинский оркестр малеровских масштабов, такой большой, что музыка у него внутри потрясла потолок, заставила вздрогнуть пол и передвинула стены.

– А мой сын меня и не слышал, – сказал Папаша Лютня. – Оглух.

– Пап, я слушаю.

– Меня, – сказал отец, уставившись на обложку пластинки. – Слушай *меня*, – но говорил он, словно обращаясь к Гленну Гульду или к самому Баху. – Сын, будь практичней. Думай о будущем. Попытайся понять. Много дорог ведет к счастью, и степени счастья бывают разные.



Когда Большая Матушка Нож вернулась в земляную хижину, Завиток и маленькая чертовка лежали точно так же, как она их оставила – вместе на канге, в тяжелом сне. Вэнь завернулся в одеяло на полу. Лицо сестры в лунном свете казалось бледным и морщинистым, а Чжу Ли как будто вцепилась в нее, как это делают дети – упрямая и твердо намеренная получить, что хочет. Сидя в уголке под ватником как под одеялом, Большая Матушка наблюдала, как лунный свет крадется под дверь. Он лился в комнату, такой пронзительный, что, взглянув на собственные пальцы, она едва себя узнала. Ей показалось, что это руки Завитка. Ей показалось, что ее туфли – это туфли не кого иного, как Вэнь Мечтателя, что колени ее – Папаши Лютни, руки ее принадлежат Да Шаню, живот – Летучему Медведю, сердце ее – Воробушку. У нее появилось ужасное предчувствие, что их, одного за другим, отломают от нее и отнимут. Или это она уйдет первой?

Эскапада Большой Матушки и книжного бога, казалось, состоялась много лет назад – и за многие мили отсюда.

Накануне Большая Матушка сходила в город и накупила самых простых потребных в быту предметов – плотные одеяла, термос, подбитые ватой куртки, а еще рис, ячмень, масло для готовки, соль и сигареты. Через несколько месяцев, сказала себе Большая Матушка, она снова получит разрешение приехать и навестить сестру. К тому времени начнется весенний сев, и она опять поможет им удовлетворить свои нужды. Завиток рассказала, что партсекретарь пообещал ей место учительницы в начальной школе. Может, положение и не такое уж отчаянное. Но даже думая об этом, она испытывала непроглядную печаль. Она подняла глаза и увидела, что Чжу Ли проснулась и подмигивает ей, прикрыв правый глаз ладошкой.

– Доброе утро, маленькая чертовка, – сказала Большая Матушка.

Девочка переменяла руки и прикрыла левый глаз.

Большая Матушка цыкнула.

– Наглая мартышка!

– Отец меня так называл, – сказала Завиток. – Вот теперь вспомнила, – сестра села, и волосы хлынули у нее по плечам. – А почему ты сюда не идешь? Тут тепло.

Большая Матушка медленно поднялась на ноги. Все тело болело. Оно старело и делалось бесполезным – вне всякого сомнения, итог бесконечных митингов и политинформаций. Партийная пропаганда глушила мысли, окутывая густым тестом умственной отсталости.

– Что случилось? – спросила Завиток. – Почему ты плачешь?

– От радости, – солгала Большая Матушка.

Ее сестра рассмеялась. Девочка тоже прыснула.

Подмигнув девочке, Большая Матушка подхватила картонную коробку и поставила ее на канг рядом с сестрой.

Завиток пристально поглядела на коробку, словно та напомнила ей о ком-то, кого она много лет не видела. Она протянула руку, потянула за петлю, и бечевки распустились. Завиток подняла крышку и сдвинула ее в сторону. Она уставилась на тридцать одну тетрадь – все главы Книги записей, что удалось отыскать Вэню.

– Но... – она коснулась угла коробки. – Я же знаю, что это невозможно.

– Скажем так – божество книг позвало их домой.

На следующее утро, в автобусе на Шанхай, провидение поместило Большую Матушку на соседнее сиденье с крепкой молодой женщиной, женой председателя сельсовета.

– Далеко от дома забрались, а? – сказала молодая женщина, развернув красный платочек, расправив его на коленях на манер скатерти и насыпав туда внушительное количество подсолнечных семечек.

– В нашей огромной и славной стране, – нежно сказала Большая Матушка, – мы везде дома.



– Истинная правда! – сказала женщина, перебирая пальцами семечки, словно вылавливала в них серебряную монету.

За окнами пролетал пробуждавшийся в первом свете утра пейзаж. На сиденьях вокруг все спали или притворялись спящими. Молодая женщина предприняла терпеливую попытку выудить из Большой Матушки причину ее визита в Биньпай (“А кто, вы говорите, ваша сестра? Та молодая дама, что раньше пела в чайных?”), влезая под кожу Большой Матушке, точно иголка. Большая Матушка, созерцая росшую на полу кучку подсолнечной шелухи и размышляя в самом общем смысле об алчности, что подстрекает к войнам и оккупациям, и о кровавых разгулах гражданской войны, открыла термос и щедро налила своей спутнице чашку чаю. Как часто случалось, по внезапному наитию Большая Матушка Нож решила подправить свою стратегию.

– Приятно было, – начала она, – воочию увидеть земельную реформу тут в селе, во всей ее славе.

– Гениально! – веско сказала молодая женщина. – Придуманная – нет, написанная как музыка! – самим Председателем. Программа мысли, которой нет равных во всей истории человечества, будь то прошлое, настоящее или будущее.

– Действительно, – сказала Большая Матушка.

Они немного посидели во вдумчивом молчании, и затем она продолжила:

– Я сама приветствую любые жертвы во имя освобождения наших возлюбленных сограждан от этих омерзительных...

– Ой, очень омерзительных! – прошептала молодая женщина.

– ...феодалных оков. Вне всякого сомнения, ваш муж, председатель, с отличием исполнил свой долг, – Большая Матушка запустила руку в карман пальто и вытащила горсть конфет “Белый кролик”.

– Ох ты ж! – в изумлении произнесла молодая женщина.

– Прошу вас, возьмите конфетку. Берите не одну. Эти деликатесы нам прислал сам глава шанхайского ведомства пропаганды. Вкус нежный, но вместе с тем богатый. А я не упоминала, что мой муж – композитор и музыкант? Говорят, что его революционные оперы пришлись по нраву самому Председателю Мао.

– Ах, ах, – тихонько сказала женщина.

Большая Матушка понизила голос. Слова словно сочились к ней прямоком из одной из тридцати с лишним тетрадей в сумке, которые, по настоянию Завитка, она забрала в Шанхай; от любовных писем сестра должна была избавиться сама – во всяком случае Большая Матушка надеялась, что так она и поступит.

– Но наш Великий Кормчий всегда направляет нас в наших делах, равно и великих, и скромных. Конечно же, мой муж скромнее самого робкого вола, однако он дошел бок о бок с героями нашего народа до самого Яньяня, аж десять тысяч ли! Мой муж играл с таким революционным пылом, что мозолей у него на пальцах было больше, чем на босых ногах. Да, он шел и на ходу все играл на гуцине. А смычок ему пришлось перетянуть конским волосом.

– Никогда прежде конский волос не жертвовал собой с такой радостью!

Большая Матушка позволила себе улыбнуться.

– Уверена, так оно и было.

Молодая женщина угостилась еще горсточкой сладостей. Все конфеты, кроме одной, она ссыпала в карман блузки.

– А муж ваш родом откуда?

– Из провинции Хунань, самой колыбели революции, – сказала Большая Матушка. Женщина нервно разворачивала свою конфету, и Большая Матушка терпеливо дожидалась, пока шорох фантика стихнет. – Его революционный псевдоним – Песнь Народа. Он, если позволите, тот еще здоровяк и громила. Подлинный дух нынешнего времени.



– Мне знакомо его имя, – деликатно жуя, сказала женщина; конфета слепляла слова воедино.

– В последний раз он заезжал к вам в деревню на свадьбу моей сестры. Вообще-то Вэнь Мечтатель с моим мужем близки, как братья.

Неужто она почувствовала страх? Неужто даже семечки вдруг заledenели?

– В нашей деревне вашего мужа встретили бы с большими почестями, – сказала крепкая молодая женщина. – Если бы вы только смогли сообщить нам заранее, чтобы можно было сделать все необходимые приготовления...

– О нет, – ласково сказала Большая Матушка. – Он не любит, когда вокруг него суетятся. Как с честью говорит Председатель Мао: “Мы, кадры, в особенности должны ратовать за трудолюбие и бережливость!” Но я уверена, что он к вам заедет, он ведь так привязан к здешнему народу, в особенности, как я говорила, к товарищу Вэню Мечтателю. Вот, пожалуйста, возьмите еще конфетку.

Пока автобус тащился вперед, женщины наливали друг другу чаю, делились сухофруктами и воздавали поэтические почести своим мужьям, отцам и великим вождям. Четырнадцать часов спустя, к тому времени, как автобус прибыл в Шанхай, Большая Матушка Нож успела съесть столько семечек, что опасалась, как бы ей не захлопать крыльями и не улететь. Молодая женщина схватила ее за руки и желала ей долгих лет, процветания и революционной славы, и еще долго после того, как автобус опустел и вновь наполнился, они стояли и окликали друг друга, как регулировщики. Большая Матушка шла с автостанции домой, по шумным сумеречным улицам, и роман у нее в сумке дарил ей приятное, иллюзорное спокойствие, словно она уходила с тайного собрания, а документы, которые она несла, способны были ниспровергать системы, страны, продажность и ложь.

Возможно, дело было не в самих бумагах, не в их тайнах и не в том, что они были столь взрывоопасны, но в именах их читателей, которые следовало непременно защитить. Отважные подпольщики, бойцы сопротивления, шпионы и мечтатели! Она не знала, как к ней в голову пришли эти мысли, но даже сам воздух словно окутывал здания паранойей. Какими тоненькими и в то же время тяжелыми казались эти тетради. Она начала гадать, уж не слился ли Вэнь Мечтатель, пока часами копировал Книгу записей, с автором или даже с самими героями – или, может, он превратился в нечто еще более пространное и нематериальное? Стал ли он снова собой, когда закончил переписывать, или же сама структура его мыслей, их оттенок и ритм, едва заметно переменялась? Миновав Пекинское шоссе, она вышла на знакомые улицы, узкие переулки и, наконец, к черному ходу их собственного дворика. Отсюда было уже слышно женское пение – сослуживица, репетирующая с Папашей Лютней или, может, просто радио, выкрученное на расточительно высокую громкость. Когда Большая Матушка вошла в боковое крыло дома, то обнаружила, что муж виновато высится прямо за дверью, в криво застегнутой рубашке. Он почесал блестящую голову и, заступая путь, уставился на нее с выражением ужаса и смущения.

– Дапусти же меня, во имя всего святого! – воскликнула она.

Он сдуплся и сложился куда-то вбок. Она увидела, что в комнате темно, что освещают ее лишь отблески уличных фонарей. Она поставила сумку на пол.

– У вас что, керосин кончился? – спросила она.

И тут она услышала его, тоненький ручеек звука, скрытый орущим радио. Она взглянула на Папашу Лютню в ожидании объяснений, но тот лишь пожал плечами и кротко улыбнулся.

Сердце у нее упало. Проститутка. Певичка такого оперного калибра, что заглушить ее крики сможет разве что десять радио на предельной громкости. Схватив метлу, Большая Матушка пошла на звук к спальням. У первой двери она заглянула внутрь и увидела двух младших сыновей спящими чуть ли не друг на друге, словно на северной стороне кровати они спасались от снов. Она направилась дальше, в кабинет Папаши Лютни. Да как он посмел? Она



ему нос разобьет, она ему все остатки волос повыдерет, она... Дверь была закрыта, но звук все равно проскальзывал наружу, как вода, перелившаяся через край стакана. Она повернула ручку и толкнула дверь от себя.

В дальнем углу комнаты тускло горели две лампы. Она посмотрела в направлении света. Воробушек сидел за отцовским столом, занеся ручку над длинным листом бумаги. Бумага, в сущности, была везде – на кресле, на ковре, водопадом ниспадая со стола; повсюду валялись скомканные листы и залитые чернилами страницы. На патефоне крутилась пластинка.

– В этом доме что, все мужчины сошли с ума? – осведомилась она наконец, опуская метлу.

Сын опустил глаза и выжидательно уставился на разбросанные листки, словно те могли ответить за него.

– Мне покинуть этот дурдом и вернуться во вменяемое – да, восхитительно вменяемое! – село?

– Ох, – сказал Воробушек, когда никто больше не отозвался. – Нет.

– У нас тут небольшое, сиречь – маленькое и неважное, учебное задание, – сказал Папаша Лютя.

Это чудовище, Песнь Народа, подошел сзади и стоял у нее за спиной.

– Задание! В темноте сидеть, как в пещере? – осведомилась Большая Матушка. – Проверить, как быстро вы оглохнете от госрадио?

Папаша Лютя мягко втолкнул ее в комнату и закрыл за ними дверь.

– Беспокоиться не о чем, – сказал он. – Просто дело в том, что некоторые наши интересы – кое-какие музыкальные вкусы – лучше не делать всеобщим достоянием.

Она подняла с пола листок бумаги и поднесла его к здоровому глазу. Она вглядывалась в цифры, бежавшие вверх и вниз по странице, цифры от единицы до семи, линии и точки, вздымавшиеся, как лестницы, аккорды. Они переписывали музыку в цзянпу.

– Учебное задание? – с сомнением произнесла она.

– Сверхурочное, – сказал Воробушек.

Лицо у него было перемазано чернилами.

– Но зачем?

Вокруг них слабо кружила музыка из патефона, добавляя к разговору собственные мысли. Барочные сооружения, которые так любил ее сын, Гольдберг-вариации Баха. Воробушек теперь стоял рядом с ней – уже такой высокий. И когда только этот ребенок успел вырасти? Только вчера он еще бегал под столиками в чайных в грубой зеленой шапочке, которую она ему связала, и ушки шапочки хлопали его по ушам.

– Для удовольствия, – тихо сказал ее сын.

– Да, – сказал Папаша Лютя, словно это слово упало к ним с неба. – Для удовольствия!

– Но где тут польза? Если вам нужны ноты, то почему ты просто не отведешь своего сына к Старому Чжану? Цзянпу для малышей и певичек из чайных, не для студентов консерватории.

Пластинка продолжала крутиться, вырабатывая в воздух музыкальные фразы, и она поняла, что муж и сын ее не слушают – они слушают пластинку.

– Я устала, – отрывисто сказала она. – И я спать. Не дергайте меня.

Она развернулась и вышла из комнаты – как раз когда музыка разразилась букетом звуков, пролившись на нее, как фальшивые аплодисменты. Она закрыла за собой дверь.

Всю ночь, под прикрытием орущего радио, по дому ручейком струилась музыка. Она слабо доносилась и до Большой Матушки, когда та лежала сперва на левом боку, а потом на правом, на животе, на спине или поперек кровати. Наконец она тихонько выбралась из комнаты и прокралась в кровать к мальчикам. Летучий Медведь спал крепко, подвернув стопы и оттопырив большие пальцы, но милый Да Шань переполз через кровать, чтобы быть к ней поближе. И этот тоже слишком быстро вырос. Он неловко вкатился к ней в объятия.



– Я рад, мама, что ты дома, – сонно сказал он.

Вцепился ей в руку и не отпускал, напомнив Большой Матушке Завитка и ее малютку-дочь, и тот жесткий канг, и тихо выходящий дым сигарет Вэня Мечтателя.

Весной Большая Матушка снова ездила в Биньпай, а потом еще дважды – зимой и следующей весной. Жизнь в деревне стала потише, и, хотя семья Завитка все еще жила в земляной хижине, они мало-помалу вновь начинали преуспевать. Вэнь стал обрабатывать пол-акра орошенной земли, а Завиток преподавала в школе.

За все это время Большая Матушка ни разу не открывала коробку с тридцатью одной тетрадью. Но в середине 1958 года зрение на ее здоровом глазу начало падать. Однажды утром она проснулась отекающей, полуслепой и в жару. Она тут же принялась убирать дом, снизу доверху и справа налево. Были сняты шторы, со спальных матрасов – сброшены одеяла и подушки. Она отполировала плинтуса, отскребла стены, опустошила шкафы, перебрала детскую и обнаружила карандашные портреты – свой и Папаши Лютни: она толстая, как фрукт помело, а муж – длинный, как лук-порей. Ниже крупным почерком Летучего Медведя были написаны слова: “юэцин” (лунная гитара) и “ди” (флейта). Вот же маленькие засранцы! Уже научились высмеивать власть предержащих. Она яростно выбила лоскутные одеяла, думая, что и сам Мэн-цзы бы надрал им уши, выправил почерк и заставил бы претерпеть некоторые физические лишения – но вот она, пожалуйста, несет рисунок в кармане так, точно это драгоценная пачка сигарет *Natamen*.

– Ох, матушка! – вскричала она, вспугнув Воробушка, что сидел, согнувшись над грудой рукописей.

Воробушек глядел на нее со все возрастающим беспокойством. Он заметил, как она натывается на предметы, стараясь смотреть здоровым глазом и крутя головой по сторонам, словно голубь. За последние несколько лет она пополнела и округлилась, однако стала более вспыльчивой – ни дать ни взять правитель из прежних эпох. Квартира была в страшном беспорядке.

– Ох, батюшки! – вздохнула она, поставив на стол небольшую картонную коробку.

И, словно груз всех скорбей мира лежал у нее на плечах, обрушилась в кресло. Ни шнурка, ни липкой ленты на коробке не было, и открыть ее можно было бы запросто, но Большая Матушка Нож просто таранилась на нее, точно ожидая, что крышка поднимется сама собой.

– Мам, мне открыть для тебя посылку? – спросил он.

– Э! – сказала она, повернув голову на девяносто градусов, чтобы поглядеть на него левым глазом. – Я тебя что, перебиваю? Врываюсь вот так вот в твои мысли?

– Прости, мам.

– Ах вы... мужики! – возопила она, когда мимо в пластиковых тапочках прошлепал Летучий Медведь. – Да у вас, наверное, кирпич был вместо матери. Иначе как это вы выросли в эдаких непослушных капиталистических тиранов?

Мальчик уставился на нее снизу вверх, в растерянности разинув рот – он как раз собирался откусить от паровой булочки.

Воробушек исподволь наблюдал, как внимание матери вновь обратилось к побитой жизнью коробке. Она сидела неподвижно, словно желая, чтобы содержимое прочистило горло и само за себя высказалось. Может, там пусто, подумал Воробушек. Большая Матушка протянула было руку за несуществующей чашкой чаю, затем вздохнула, потерла лоб и продолжила разглядывать коробку. Когда Воробушек налил ей свежую чашку чаю, поставив ту рядом с ее безутешной рукой, она подскочила и бросила на него полный ненависти взгляд. Он сел на место. Летучий Медведь затолкал булочку в рот и спешно ретировался.

Когда Воробушек в следующий раз поднял глаза, то увидел, как мать осторожно подтянула коробку к себе поближе, открыла ее и вынула аккуратную стопку тетрадей. Большая



Матушка раскрыла первую тетрадь и поднесла ее к здоровому глазу. Она так пристально всматривалась в страницу, что он подумал, что та может даже вдруг самовоспламениться.

– Мам, – сказал он, собравшись со всем возможным мужеством. Здоровый глаз повернулся к нему. – Хочешь, я тебе прочитаю?

– Пошел вон!

Это застало его врасплах настолько, что он выронил карандаш. Воробушек поспешно собрал свои бумаги и убрался из-за стола.

– Нос свой всюду суешь, под ногами путаешься! – проорала она ему вслед.

Воробушек отступил в спальню, где обнаружил хихикавшего Летучего Медведя. Он легонько его шлепнул, и мальчик изящным сальто откатился прочь. Да Шань нелепо стоял посреди комнаты, согнувшись и касаясь голых пальцев ног. Воробушек положил бумаги на кровать и сел у окна в последних лучах солнца – ждать. Когда до него донесся голос матери, звавшей его обратно, он улыбнулся, и братья улыбнулись ему в ответ. Воробушек поднялся, вернулся в кухню и увидел, что мать стискивает кулаки, как едва научившийся ходить ребенок. Он сел рядом с ней. Большая Матушка с горечью протянула ему первую тетрадь. Не дожидаясь указаний, он принялся читать вслух.

Повествование начиналось на середине песни.

Воробушек прочитал:

*Как же ты притворяешься, что не видишь  
Этого острия, что пронзает тебе сердце?  
Если жаждешь того, что вовне тебя,  
Никогда не получишь того, что ищешь.*

#### 4

– Ма-ли, вернись. Просыпайся.

Во сне я продолжала слушать Книгу записей. Проснувшись, я не могла вспомнить, где я – и даже кто я. Я увидела скользящие по потолку моей спальни отблески; они полностью поглотили мое внимание, бесконечно приближаясь, возвращаясь и все же оставаясь непредсказуемыми.

Снаружи все еще было темно. Ай Мин сидела на краю моей кровати в пальто, которое дала ей мама. Теперь ее лицо округлилось, волосы были как море, и сидя там, она казалась необыкновенно хорошенькой. Я протянула руки и крепко обняла ее за талию. Ай Мин почесала меня по голове. Пахла она вкусно, как печенье.

– Однажды, Ма-ли, мы поедem в Шанхай, и я представлю тебя Большой Матушке Нож.

– Большой Матушке! – вздохнула я. – Она мне голову откусит.

– Только если ты ей понравишься. Потерпись и вставай, пока я не съела весь завтрак.

Я слышала, как открываются и закрываются двери, и шаги мамы и Ай Мин, без труда переходивших не только из комнаты в комнату, но из снов – в мое настоящее. Каково, должно быть, это – гадала я – начинать все заново? Была бы я тем же человеком, если бы проснулась с другим языком и в другом существовании? Потирая глаза, я вылезла из кровати.

Было 16 мая 1991 года. Чемодан Ай Мин, тот самый, с которым она прибыла, поджидал у дивана. В скором времени они с мамой собирались добраться до границы на взятой напрокат машине и въехать в Соединенные Штаты. Пройдя границу, Ай Мин должна была сесть на автобус до Сан-Франциско, где ожидала ее приезда подруга ее матери.

За обеденным столом мама раскладывала по тарелкам гренки на молоке. Я смешала сок из замороженного концентрата, приготовила три бокала и подала его как шампанское.



Ай Мин рассказала нам, что сегодня, впервые за много месяцев, ей вообще ничего не снилось и что этим утром, открыв глаза, она почувствовала мир на душе, словно стояла посреди парка Фусин в Шанхае, в глубоком озере солнечного света. Даже здания вокруг, построенные в самые разные годы и эпохи прошлого, раскачивались, точно тоже состояли лишь из листьев.

Я сказала, что мне снилась граница.

Мама вздохнула.

– Пожалуйста, возьмите меня с собой, – сказала я, хоть и понимала, что тщетно. – А что, если вас бросят в тюрьму? Как вы пошлете мне весточку? Детей в тюрьму не сажают, так что я единственная, кто может вас спасти.

– Давайте надеяться, что до этого не дойдет, – сказала мама.

Какая-то часть меня понимала, что Ай Мин и мама хотели бы видеть это прощание полным надежд, так что я взяла вилку и принялась им подыгрывать. Как страстно мне хотелось быть старше, быть способной играть роль. Мы праздно сидели за завтраком и изобретали игру, в которой надо было чертить в воздухе слова. Ай Мин сказала, что “прибыть” # состоит из корня для “дерева” # и слов “еще нет” #: прибытие – это дерево, которое только еще появится. Мама сказала, что в слове “луковица” есть иероглиф # “ян” (“бесконечность, заключать в себе множества”), таким образом, луковица – как корень бесконечности. Мне было интересно, почему “бесконечность” состоит из “воды” # и “овцы” #, но никто не смог мне объяснить.

Если я опускаю то, что было дальше, то это потому, что даже теперь, более двадцати пяти лет спустя, я сожалею о том прощании. В Канаде с 1983 года не было ни одной амнистии, и у мамы не хватало денег, чтобы поддержать Ай Мин так, как той было необходимо. В Америке, как нам всем хотелось верить, у Ай Мин будут лучшие шансы на стабильное будущее.

Прежде чем уйти, она заключила меня в долгие объятия. Она была с нами так недолго, но теперь, когда уходила, я поняла, как глубоко и с какой легкостью она нас изменила. Я боялась, что сами по себе мы с мамой не сможем друг о друге позаботиться.

– Плакать не стыдно, – шепнула Ай Мин. – Помнить не стыдно. Не забывай, Ма-ли. Ничего еще не пропало. Пока еще нет.

Она выпустила меня. Я открыла глаза. И, потому что я ее любила, я попрощалась. Я вцепилась в иероглиф, который она для меня нарисовала: # (вэй), “еще нет”; будущее, движение или музыкальная пьеса; вопрос, на который до сих пор нет ответа.

После я лежала на диване. Я не плакала. Поэзия и память, сказала Ай Мин, были во мне сильны; я была создана для математики. Я вознамерилась запомнить все, что она мне рассказала, деяния прекрасные, жестокие и мужественные, что совершили ее отец и мой и что связали воедино наши жизни.

\* \* \*

Большая Матушка Нож заболела. Смертельная усталость от последней поездки в Бинь-пай, девятнадцатичасовая дорога и передозировка яичных блинчиков – все это совокупными усилиями разнесло ей кишки. Когда худшее миновало, она, крайне несчастная, лежала в постели. Даже веки ее как будто переутомились – все время опускались и застили ей свет.

Воробушек взял свои журналы и ноты и расположился в родительской спальне, принося матери чай, чистя для нее апельсины, открывая и закрывая шторы в зависимости от положения солнца и материнских капризов, и выжидая – все время выжидая – пока ее сознание не прояснится настолько, что она попросит сесть у кровати, взять стопку тетрадей, которую она называла Книгой записей, и продолжить рассказ.

Пустыня, в которой разворачивалось действие первых глав, стала Воробушку вторым домом; даже кожа на собственных руках в какой-то момент начала казаться ему сухой и загрубелой. Порой он забывал, что читает вслух. Вместо того слова становились его собственными:



он сам был Да Вэем, запертым на радиостанции в пустыне Гоби, когда, как ураган, налетела война, и разнесла землю на части, и он испугался, что остался последним живым человеком в этом перевернувшемся с ног на голову мире. Чтобы утешиться, Да Вэй представлял себе невидимых зрителей, от которых никогда не получал ни весточки; он сочинял себе от них письма и день за днем уснащал их жизни деталями:

Разве не правда, господин Да Вэй, что некоторым людям судьбой предназначено исчезнуть – с той же верностью, с которой некоторые озера испаряются в сезон засух? А в то же время другим судьба пересечь верхнюю границу этого мира. Да здравствуют те, кто сражается за нашу независимость! Да будет так, чтобы мы пощадили друг друга и обрели мир, да будет так, чтобы однажды мы простили братьев наших, поскольку эта война – и наш недуг, и наша надежда. Господин Да Вэй, прошу вас посвятить третью часть Третьей симфонии Старого Бэя моему сыну, Урожаю Вонгу. Желаю сказать: Обильный Урожай, стой гордо и служи своей стране храбро. С днем рождения, сын мой.

Слушатели следили за голосом Да Вэя в сумерках своих каморок, сквозь зябкие ночи по первые швы утра. Люди ждали, собравшись вместе или совсем одни, пока бой пройдет мимо, ждали затишья перед следующей бурей, ждали бури, что последует за этой краткой отсрочкой. *А вот следующую пьесу показал мне мой дедушка*, говорил Да Вэй. Его голос звучал так задумчиво, словно он сидел прямо напротив вас в самой теплой комнате вашего дома. *Он научился ей в Циндао от немецкого музыканта, который играл на инструменте ростом с себя и вдвое больше себя в объёме, называвшемся вэ-лонь-чень. Послушайте.* А затем, когда музыка заканчивалась, *ну разве не прекрасно! Давайте еще раз послушаем. Еще раз, Старый Бах и его сюиты для вэ-лонь-чени.*

– Я его что, знаю? – сказала Большая Матушка, задумчиво вертя в руке сливу. – Что за черт этот писатель?

*Я так долго пробыл в одиночестве на этой радиостанции, что узнаю теперь каждую пластинку по царапинам, словно каждая – знакомое мне лицо.*

История все продолжалась, а дни летели мимо. Когда весна 1958 года уступила место лету, Воробушек вернулся назад и перечитал предыдущие главы, он населил открытые пространства романа собственными пейзажами и мечтами – так, чтобы и он тоже мог стать неотъемлемой частью этого нового мира, где желания, в которых он никогда не сознавался, обрели в этих персонажах форму, содержание и свободу.

– Воробушек, – бывало, звала его мать, проснувшись и повернув лицо к дневному свету.

И он вставал, спокойно подходил к стулу у ее кровати и начинал с поджидавшей на ночном столике главы, словно готовясь ко встрече с собственным будущим.

Воробушек был по уши погружен в отчаянное бегство Да Вэя к шанхайскому порту, когда в заднюю калитку постучали – и продолжили стучать с таким звуком, словно механизм заело и дверь обречена была теперь хлопнуть до окончания времен. Руки его не желали отпускать тетрадь. Только ругань матери заставила его заткнуть тетрадь под мышку, выпрямиться и выбежать во двор. Да Шань, думал он, опять подрался, или Летучего Медведя достает жуткий сосед, которого он про себя прозвал Фабрикой Ветров. Но когда Воробушек отпер заднюю калитку, никого не обнаружилось – разве что девочка-попрошайка, на вид не старше шести лет. Он бы снова закрыл дверь – вот только она ничего не говорила. Она просто стояла там с полиэтиленовым пакетом в руке. В пакете он мельком заметил одежду, полотенце и, как ни странно, две грампластинки.

– Ты, маленькая госпожа, должно быть, ошиблась домом.

– Тетя? – произнесла она.



– Твоя тетя тут не живет, – ласково сказал ей Воробушек.

– Пожалуйста, скажите моей тете Матушке Нож, что я пришла.

Он встал на колено, чтобы сравняться с ней в росте, и тут заметил, что одна из пластинок – иностранная. Он взглянул малышке в лицо, каким-то образом словно стертая пылью. Он понял, что слова на обложке немецкие, и опознал важные – “И. С. Бах”. Воробушек снова посмотрел на девочку, не желая поверить, что узнает это скорбящее, нищее дитя.

– Скажите моей тете, – твердо повторила она.

Но этого не понадобилось, потому что его мать вышла во двор, накинув на плечи лоскутное покрывало, и теперь стояла у него за спиной. Мать вскрикнула и прижала девочку к груди.

– Чжу Ли! – сказала она. – Где твоя мама?

В панике она оттолкнула Воробушка и выскочила в переулок, оглядываясь по сторонам.

– Завиток! – закричала Большая Матушка и продолжила кричать. Переулок был пуст – ни души, ничего, кроме мусора и ветра.

Воробушек пулей побежал вниз по переулку – до самого Пекинского шоссе. Но его тети Завитка с Вэнем Мечтателем там не оказалось – ни под приветливой аркой, ни на улице. В конце концов он потратил несколько завалявшихся в кармане монет на полдюжины жареных бататов и бумажный пакет паровых булочек, а затем ринулся назад, через перекресток, оглядая велосипеды и проскакивая между пешеходами. Дома он обнаружил Чжу Ли за столом напротив матери. На девочке была одежда Летучего Медведя, а маленькая знакомая рубашка (некогда принадлежавшая самому Воробушку) свисала с нее, как палатка. Когда Воробушек поставил перед ней еду, девочка набросилась на нее, не поднимая глаз, дыша носом и заталкивая в рот как можно больше. Большая Матушка наблюдала за этим в молчании.

Когда Чжу Ли наелась, она вдруг сама по себе направилась в спальню, которую Воробушек делил с братьями. Там она нашла еще одну рубашку и натянула ее поверх той, что уже была на ней надета. Затем она залезла в кровать и попросила Воробушка тоже лечь рядом. Сбитый с толку, он повиновался. Чжу Ли, которая с каждым мигом словно становилась все меньше, забралась к нему в объятия, закрыла глаза и заснула.

Позже, ночью того же дня, под парадную калитку подсунули запечатанный конверт. Адресован он был “госпоже Песни Народа”, и господин и госпожа Ма нечаянно наступили на него по дороге в восточный флигель. Господин Ма отдал конверт Большой Матушке Нож, которая его открыла – но, не сумев ничего прочесть зрячим глазом, швырнула им в Папашу Лютню. В письме говорилось, что Завиток и Вэнь Мечтатель были признаны виновными в контрреволюционных преступлениях и приговорены к восьми годам каторжных работ. Их уже этапировали в два разных лагеря перевоспитания на северо-западе. Неважно, сколько раз Большой Матушке повторяли эти слова – письмо все равно оставалось какой-то бессмыслицей. Между тем автор продолжал: “Мать товарища Вэня умерла от болезни. Поскольку в Биньпае доверить этого ребенка некому, я позволила себе привезти ее сюда. Все необходимые документы и разрешение на жительство прилагаются. Да здравствует наше Отечество! Да здравствует Председатель Мао!” В конверте лежал раскрошившийся, подтаявший леденец “Белый кролик”.

– Ты же знаешь, как это бывает, – наконец сказал Папаша Лютня. – Порой ревкомитеты на местах заносит. Я с этим разберусь. Такой приговор сразу в исполнение не приведут. Завиток и Вэнь должны еще быть в Биньпае.

Но он не смотрел ей в лицо и разглядывал вместо этого пустую сигаретную пачку у себя в руке.

Всю ночь Папаша Лютня крутился и вертелся. Чем больше Большая Матушка старалась разглядеть контуры комнаты, тем теснее, казалось, смыкались вокруг нее стены. Муж кричал во сне, и она лупила его по руке, пока он не притих. В собственных горячечных снах Большой Матушке явилась сестра, но Завиток снова была малышкой. Они бежали из Шанхая, пытаясь успеть прежде, чем в город войдут японские войска.



Когда Большая Матушка снова проснулась, рядом с ней спала Чжу Ли.

Они оставались в постели, пока просыпались Папаша Лютя и мальчики. Слушали, как шуршали, расстегиваясь и застегиваясь, школьные ранцы, как гремит из колонок государственный гимн, а по переулкам дребезжат колокольчики и трещотки. Когда Большая Матушка вновь открыла глаза, она на миг растерялась и подумала, что это они с Завитком лежат в родительской кровати, а по подушкам рассыпались сияющие волосы сестры. Сестру она любила как никого на свете. Когда в войну пропали их мужья, они с Завитком выживали вместе, и Большая Матушка ни разу ее не подвела. Она смахнула слезы, которых не смогла сдержать.

У нее было смутное, беспокойное чувство – как будто люди карабкаются куда-то, ломаются прямо по чужим телам, и лезут, и лезут, и падают, и тянут за собой остальных – в полном и тошнотворном молчании. Но за какие преступления? В лагерях перевоспитания на северо-западе сестру, вне всякого сомнения, разлучат с Вэнем Мечтателем. Конечно же, скоро их освободят, наверняка все их преступления – лишь мелкие проступки. Но “мелкая контрреволюционная деятельность” – это вообще как? Большая Матушка никогда еще о таком не слышала. Малышка села. Словно слезы тети ее ошпарили, Чжу Ли выползла из-под одеял и вышла из комнаты.

Той же ночью Папаша Лютя сел на автобус до Биньпая. Он дремал и думал об игроках и табачном дыме на свадьбе Завитка, о птицах и музыке, и о медленно разворачивающейся деятельности свеже созданного Председателем Мао военного оркестра, а когда он проснулся, автобус накренился над горным перевалом, штурмуя узкий, как шпилька, серпантин. Папаша Лютя вцепился в переднее сиденье. За окнами было мерзко. И внутри, и снаружи Папашу Лютя охватывало всеобъемлющее чувство опасности и предательства. Это предчувствие было таким сильным, что на рассвете он удивился, обнаружив, что автобус катится по мирному и нежному пейзажу. Золотисто-зеленая хрупкость полей вокруг, серебристые мотоциклы и ряды низко летящих птиц, как одна забиравших то ниже, то выше, сбили его с толку. Транспаранты провозглашали: “Служить народу!” или “Смелее мыслить, смелее действовать!”. Начало лета было невыносимо – раскаты грома и постоянная жара. Рубашка Папаши Люти как будто навсегда приклеилась к спине.

Прибыв в Биньпай, Папаша Лютя пошел в партком – скромное зданье с очень низкой дверью.

Внутри он с удивлением увидел крутившийся под потолком электрический вентилятор, гнавший теплый воздух вниз. В парткоме имелся собственный генератор. Как только Папаша Лютя представился, его поприветствовал председатель – подал ему здоровенный кусок торта. Обуздав тревогу, Папаша Лютя выпрямился, чтобы выглядеть властно и неуязвимо, и заговорил гулким и громким голосом. Как только он упомянул Завитка и Вэня Мечтателя, лыбившийся чиновник в теплом не по погоде пиджаке порозовел и вспотел. Вентилятор гонял по его лысой голове капельки пота.

– Минуточку, товарищ, пожалуйста, – сказал председатель и сбежал из комнаты.

Принесли еще торта. Вошедший рабочий пропел: “Добрый день, товарищ!” – подал чашку чая, протер и без того уже чистую столешницу и, спотыкаясь, ретировался: “Да здравствует наш Великий Вождь!”

– Ну? – сказал Папаша Лютя, когда председатель вернулся. – Где они? Я с нетерпением жду с ними встречи.

Тот, судя по взъерошенному виду, успел сбежать чуть ли не в Москву и обратно.

– Ну, само собой, – начал он, – они здесь прописаны...

– Да-да.

– ...но сегодня утром или, точнее выражаясь, в настоящее время...



– Товарищ Вэнь – высоко ценимый лирический поэт, он, как говорят, просто книга песен. Никто другой для нашего концерта не подойдет. Сам генерал Чэнь И настаивает!

Председатель, не ожидавший такого, вскинул глаза.

– Почтение Чэнь И! Отважный генерал и верный слуга самого Председателя Мао. Герой двенадцати орудий! Да здравствует...

Папаша Лютя сделал большой глоток чаю и шмякнул чашку обратно на стол.

– Товарищ Вэнь и его жена должны явиться сюда немедленно. Я намерен на этом настаивать.

– Дорогой товарищ, пути жизни неисповедимы. Я хочу сказать, бывают такие неожиданные места, куда люди возвращаются...

– Ваша поэзия, товарищ, мне голову морочит.

Председатель зарделся.

– Позвольте, начну заново. Старший брат, правда такова, что их здесь нет, – он неловко заерзал.

– Будьте любезны, говорите, как есть.

Председатель налил чаю и принялся упрямить его отпить.

Папаша Лютя ждал. Вентилятор теперь крутился быстрее, словно тщился взлететь.

– Мы всеми силами блюдем порядок, – сказал председатель, – но будучи путеводным светочем, как вы сами знаете, народ не может семенить маленькими шажками – ведь тогда он просто упадет, разве нет? Чтобы одолеть столь великий разрыв, он должен скакать – и иногда перескакивать. И, возможно, в случае товарища Вэня народ, быть может, перескочил. Однако в такие времена, как нынешние, исполнение революционной мечты тем более должно идти своим чередом. Вы сами разве так не считаете?

Папаша Лютя промолчал. Торт во рту отдавал гнилью.

– Судя по всему, – сказал председатель, – у товарища Вэня с супругой на наследных землях был тайный погреб.

Папаша Лютя допил остатки чая из чашки и задумчиво поглядел на чайник.

– Это не преступление, товарищ.

Председатель подождал, позволив молчанию занять место возражений.

– Конечно же, – продолжил он, – контрабанда всегда всплывает. Мы все конфисковали. Книги, пластинки, кое-какие фамильные ценности. У него были “Книга песен” и “Книга истории”. Еще у него нашлись американские книги. Я удивлен, – сказал он, позволив себе краткую паузу, – что вы этого не знали.

Папаша Лютя смотрел на стену у него за спиной. Нельзя было понять двояко эту внезапную перемену тона: то, что растерянная поэтичность и блестящий пот председателя вдруг развеялись, как туман, во мгновение ока.

– Я этого не знал, – ровным тоном сказал Папаша Лютя.

– Мм-хмм.

Председатель поднялся, дотянулся до длинного шнурка и выключил вентилятор. Тот вращался все медленней, пока не остановился и не оставил комнату тесной и пронзительно неподвижной.

– Как партийные кадры мы, конечно, уполномочены лишь служить народу и следовать линии партии. Мы сдали его в ревкомитет, и там вынесли приговор. Его признали опасным элементом.

В горле у Папаши Люти пересохло, но чаю ему больше не предлагали.

– Перевоспитание каторжными работами, – продолжил председатель, усаживаясь обратно. – Таково было заключение, и в должном порядке его забрали.

– А его жена, товарищ Завиток?



– Осужденная правоуклонистка и бесстыдный буржуазный элемент. Наказание то же. – Теперь председатель от жары словно расцвел. Он порозовел и зазолотился. – Возможно, эту тайную библиотеку построила мать товарища Вэня во время одной из войн, чтобы спрятать от захватчиков редкие книги. Она в прошлом году умерла, поэтому откуда нам знать? Вы, может, слыхали о ее отце, Старом Западе? Реакционный элемент, в свое время очень близкий к империалистскому режиму. Конечно же, когда-то Старый Запад был прославленным ученым, которого отправили за рубеж служить своей стране, а такие тайники когда-то были в порядке вещей... В конце концов, кто я, чтобы судить? Мы просто маленькая деревушка. И еще только осваиваем верную линию, – председатель улыбнулся Папаше Лютне. До чего же странной была эта улыбка: частью жалость, частью предупреждение. – Ревкомитетом руководит Чэнь И, разве нет? – ровно произнес он. – Полагаю, Чэнь И мог и уведомить вас о вынесенном приговоре.

– Расскажите, – сказал Папаша Лютня, игнорируя инсинуацию председателя, – как обнаружили библиотеку?

– Товарищ Вэнь с женой, как обычно, работали в поле. Их дочь залезла в провал. Она библиотеку и нашла. Должно быть, вход съехал из-за таяния льда, – он вылил остатки чая в цветочный горшок на полу, а затем беззвучно поставил чашку обратно на стол. – Там внизу было тепло. На самом деле, поуютнее, чем дом, где они жили. Кто-то из деревенских шел через поле и увидел, как товарищ Чжу Ли исчезла, как под землю провалилась.

Председатель изучал его, не таясь. Папаша Лютня, не отступая, уставился на него в ответ. Выражение неумолимости, крившееся за выработанным изяществом, полуприкрытыми глазами и мягким, потным носом было ему знакомо. Молчание между ними сделалось задумчивым. Папаша Лютня закрыл глаза, а затем вновь посмотрел на председателя. Он как будто вышел из кабинета и снова зашел – через другую дверь.

– Я знавал вас в Ставке. Тогда, в сорок шестом. Правильно?

Тот просиял от удовольствия.

Папаша Лютня продолжил:

– Вас завербовали в оркестр. Возможно, дело было в сорок четвертом, может такое быть? – теперь он так и видел эти глаза, эту блестящую лысую голову, за гобоем. Дирижер поехал по деревням вербовать молодежь, а его друг, Ли Дэлунь, учил их играть. “Да этим детишкам инструменты и не снились!” – говаривал Дэлунь. Новобранцы даже держали гобой и трубы смешно, прогуливаясь с ними, как с новыми подружками. – Ах-ха-ха-ха, – сказал Папаша Лютня, пытаясь прочистить мысли.

– Разве не славное было время? – сказал председатель. – Учиться играть на гобое посреди японского вторжения, меняя образ мыслей и каждый субботний вечер давая бальные танцы. Великие вожди любят вальсы. Это меня удивило.

– Тут музыкального ансамбля нет, – сказал Папаша Лютня.

– Нет, тут нет.

– А гобой еще у вас?

Молчание. Председатель замялся, не будучи уверен, не издеваются ли над ним.

– Да, – признал он.

– Старина Раз-два, – сказал Папаша Лютня, вдруг припомнив, как того зовут. Все они участвовали в одних и тех же сеансах самокритики, которые на самом деле представляли собой не что иное, как неприкрытые нападки друг на друга. Этот был строг – но не садист в отличие от некоторых других. – Мы вас прозвали Раз-два, потому что у вас никогда не выходило считать в уме.

Председатель рассмеялся. Это было так неожиданно, что Папаша Лютня дернулся и перевернул свою опустевшую чашку. Председатель тут же ее поправил.

– Вы правы. Мне это прозвище дал тромбонист, – сказал он. – Вот оно и пристало.



Папаша Лютня так хотел пить, что даже в глазах у него словно пересохло. Он видел перед собой и эту комнату – и все прошлые комнаты, в которых бывал, пытался увидеть, как совмещаются все двери и входы – но углы упорно не желали стоять неподвижно.

– Скажите, что вам надо, – произнес он наконец.

– Друг мой, вы неверно меня понимаете.

– Я хотел бы, чтобы мне позволили их посетить. Их содержат неподалеку?

– Товарищ, – сказал председатель, – это невозможно. – Он быстро заморгал, словно чувства его были задеты. – Их приговорили к трудлагерям на северо-западе. Тем временем у ревкомитета не было выбора, кроме как снести их хижину. – Раз-два встал из-за стола. – Вы должны понимать, как обстоит дело. Вас чествуют по праву! Герой кампании по земельной реформе, триумфатор, музыкант-пехотинец. В Ставке мы закалились, разве нет? Нас первых преобразили через борьбу. Как говорит Председатель Мао, подлинное восстание не бывает красивым и организованным. Подобные вам герои проторили нам путь. Я только иду за вами.

Как могли такие лестные слова звучать как издевательства? Кабинет был кошмарно чист и кошмарно светел.

– Еще чаю? – спросил председатель.

– Нет. Спасибо.

– Могу я вам еще чем-нибудь помочь?

Папаша Лютня встал, выпрямляясь во весь свой рост. Председатель неловко заерзал.

– Спасибо, товарищ, – сказал Папаша Лютня. – Вы очень нам помогли. Уверен, нам еще доведется побеседовать.

– Вот сейчас припоминаю, – сказал председатель. – Жена моего делегата встретила с вашей супругой в автобусе, и, хотя ехать было всего день, они сблизилась. С тех пор она присматривала за Чжу Ли. Доставила ее в безопасное место.

Стены вокруг Папаши Лютни вновь пошевелились.

– Берегитесь солнца, – сказал председатель словно бы сам себе. Он протянул руку, дернул за шнурок, и вентилятор снова завелся. – Вам стоит уже начать репетировать в тени.

Холод силой врвался внутрь. Хоть Завиток и выпотрошила свой чемодан и надела на себя всю свою одежду, с ним было никак не справиться. Вот и сейчас, у умывальника, она зачарованно смотрела, как ее руки погружаются под воду – а она ничего не чувствует. Словно это были чьи-то чужие руки. Она выдернула их из воды, глупо испугавшись, что пальцы разобьются. Все вокруг было не тем, чем казалось. Густо-синий воздух был словно бумажный.

Она делила длинную кровать с главой района, врачом, экономистом, офицером госбезопасности, школьной учительницей, юристом по налогам и переводчицей русской литературы. Ее саму прозвали “женой”. В первую неделю она различала их по тому, как они спят: как вертятся, вскрикивают и храпят, как часто встают по ночам, насколько беспощадно втискиваются обратно – или спят неподвижно, как убитые. Нынче утром глава района, убежденная, что никаких преступлений не совершала, гадала, когда же ее освободят.

– Быть может, сегодня, – сказала она. – Но точно в этом месяце.

– Товарищ! Неужели вы не видите, что сама эта мысль делает вас идеальным кандидатом на перевоспитание?

Экономист, просидевшая тут дольше всех, была убеждена, что никто и никогда отсюда не выйдет.

– Я с одиннадцати лет посвятила себя партии! Без таких, как я, революции бы не было.

– Тс-с. Вы тут единственная еще мните себя революционером.

Прочие женщины захихикали, но главу района это не смутило.

– Я и не ожидала, что преступница вроде вас меня поймет. Партия – моя семья, и я скорее умру, чем предам ее.



После переключки они построились и пошли в столовую. Такое количество шагающих ног подняло в пыли форменную бурю; пыль окрасила воздух, припудрила полы и подсолила все, чего бы ни касались их губы. Завиток с переводчицей ели, сидя рядом. Переводчица жевала, крепко зажмурив глаза и благодарно постанывая, словно в своем воображении наслаждалась сочной утиной ножкой.

Накануне Завитку вручили уведомление от Биньпайского ревкома, гласившее, что Чжу Ли прописали на место жительства в Шанхае. Это сняло с Завитка такое бремя, что она, никогда не плакавшая, всех поразила постоянными рыданиями. О Вэне вестей она не получала – только слухи, что в мужском лагере недалеко отсюда никто не выжил. Трупы оставили в пустыне, без погребения. Завиток не позволяла себе в это поверить.

На улице, под небом, из синего ставшего белым, как бумага, они выстроились в ряд, чтобы ополоснуть миски. Цвет непорочности, подумала Завиток. Древние считали белый цвет похорон, исполнения обещаний, потери и завершения – и теперь белое небо, казалось, готово стереть саму землю. Она подняла ведро и лопату и присоединилась к своим. Она вдруг обнаружила, что сама не зная как забрела на край утеса. На рабочем участке в нескольких километрах отсюда копали канал. Почва, сухая и легко поддающаяся эрозии, рассыпалась, стоило лишь на нее нажать. Завиток трудилась бездумно; к полудню песок сиял, как монета.

Ночь за ночью на длинной кровати звучали рассказы. Шли месяцы, и вот наконец она знала хитросплетенные истории всех женщин, что спали с ней рядом, а они знали ее. Череду женщин, которые одна за другой провалились в прореху в грезах – и очнулись тут. Целую жизнь назад Завиток пошла в кассу в Шанхае, собираясь купить билет до Гонконга, но ее отвлек роман – Книга записей. Теперь ей было неловко за то, как бездумно она жгла свечи, глядя на слова, что, казалось, скрывали за собой идеи, или на идеи, невыразимые в словах, как предложения уносили ее вдаль, словно река или музыка. И все же как близка казалась тогда истина. Ей было двадцать четыре, и она влюбилась.

Темнело каждый день быстро. Северное небо было черным – а стало быть, черными были и поднебесье, и океаны, и все глубинные и необходимые вещи, и, значит, в черном и должна была таиться та жизнь, до которой Завиток все тщила дотянуться. Руки у нее все время дрожали. Поддержав вынесенный ей приговор, глава Биньпайского ревкома смерил ее холодным взглядом: “В глубине души вы противостоите Коммунистической партии”. Завиток отрицала обвинение, но если тогда это было и не так, то теперь-то уж точно стало правдой. Возможно, ее преступление заключалось не в чем ином, как в неспособности верить – и только. По правде говоря, с четырнадцати лет и до того, как она встретила Вэня, она почти ни во что не верила.

Жизнь узника полна непрерывного движения. Ее перемещали туда и сюда, как мешок с товаром. Копай окопы, мели муку, ходи за свиньями, расти овощи, меняй образ мыслей, люби партию, собирай дрова, обличай остальных, промывай зерно, пой песню. Глава района, столь уверенная, что вернется в общество, в конце концов покончила с собой. Экономиста, свято убежденную, что Вселенная о них позабыла, освободили первой. День сменял ночь, пока Завиток не заподозрила, что ее местонахождение уже неведомо и самой партии. Писем ей не приходило, и от Вэня не было ни весточки; она вспоминала, как сидела в чайной в ожидании выступлений, которые так и не состоялись. Врач рассказала им про лагерь недалеко отсюда, где женщина, беременная на момент выноса приговора, родила, и мальчик стал светом в окошке для женского барака; история казалась невероятной. Как могли мать с младенцем выжить в таких условиях? Завитку снилась Большая Матушка, и целыми днями она утешалась воспоминаниями о детстве. Во сне она сидела рядом с покойным сыном, родителями, Вэнем и Чжу Ли. Они разговаривали обо всем на свете, а потом, когда время вышло, они вернули ее в барак, вставив на место, словно книгу на полку.



Ее единственной подругой была переводчица русской литературы, и Завиток ее обожала. Она отдала бы ей последнюю монетку, последний кусок хлеба. Подруга, довольно широко известная, была лучшей в Китае переводчицей Достоевского.

На длинной кровати Переводчица первой вызвалась поделиться своей историей.

– Это было во время кампании Ста цветов. Нам велели критиковать партию, университет, друг друга, даже качество наших обедов и исправность туалетов, – Переводчица повернулась набок, и так же сделали и все женщины, одна за другой, точно волны, бьющиеся о берег. – Так я, дура такая, вышла вперед и сказала, что в моей просьбе о разрешении съездить в Ленинград четырнадцать раз отказывали и что ученый моего уровня обязан общаться с коллегами. Пока я говорила, все остальные отошли подальше. Потом я все гадала, – сказала Переводчица, мягко приложив указательный палец к собственному носу, – как это я могла так глубоко изучать Достоевского и не понимать, что сама рою себе могилу?

Слово “Достоевский”, в котором было целых восемь разных иероглифов, заставило всех забормотать в восхищении.

– Моя мама-старушка думает, что меня перевели в университет в Харбине. Она отправится к праотцам, если узнает правду, – Переводчица хлопнула рукой по кровати, будто отгоняя призрака. – Нельзя терять надежды! Председатель Мао хороший человек. Он знает, каковы мы, и он нас спасет, – Переводчица прижала руку к сердцу, словно чтобы не дать тому разбиться. Согласное эхо прокатилось от женщины к женщине. – Как может быть иначе?

Настало время, когда кончилась еда. То были полные отчаяния месяцы. Даже работа встала. Комендант лагеря согласился, что лучше тратить силы на поиски диких трав или корней. Провинцию опустошал голод; выделить осужденным хоть зернышко проса, вне всякого сомнения, было бы контрреволюционной преступной деятельностью. Завиток почувствовала, как перед глазами у нее порхают страницы. Это Переводчица обмахивала ее веером. Она ощутила, как ее катят по коридору. Это Переводчица растирала ей руки и ноги. Ей грезилось, будто она ест сочную утиную ножку. Это Переводчица украла горсть бобов с комендантской кухни, тайком их приготовила и скормила ей. Она слушала, как кто-то читает вслух из Книги записей; это было не взаправду, это Переводчица держала ее за руку. Растерявшись, Завиток спросила:

– Кто нас спасет?

Переводчица, слабо улыбнувшись, ответила:

– Никто. Значит, так тому и быть.

К концу голода на их длинной кровати осталось всего лишь трое: Переводчица, юрист по налогам и Завиток. Они спали, тесно прижавшись для тепла друг к другу. Остальные – врач, офицер госбезопасности, учительница и глава района – ушли, как говорится, в чистое белое небо, в западное поднебесье.

В 1963 году юриста по налогам освободили, а Завитка с Переводчицей перевели в лагерь, который назывался “Ферма 835”. Им впервые позволили получить почту. Завитка встретили два конверта писем – от Большой Матушки с семейством и от Чжу Ли – два таких толстых пакета, что они заняли половину ее матраса. Она глотала по письму в день, словно каждое было чашкой риса. Переводчица, одна на всем белом свете, ничего не получила.

Как-то раз они готовили куртку Переводчицы к зиме, вшивая под подкладку слои ватной подбивки. Переводчица сидела с закрытыми глазами. Ноги у нее вместо туфель были укрыты полотенцем.

Их кто-то окликнул.

Завиток вскинула глаза и увидела рядом с охранником незнакомца – гостя из иного мира. Незнакомец, явно горожанин, был одет в синие штаны и пропыленный синий пиджак. Чем дольше она на него смотрела, тем больше он походил на дорожный знак – далекий и размытый,



прочитать который непросто. Он был высок, и строен, и красив – возрастом, должно быть, чуть за двадцать.

– Тетя Завиток...

Она так и вытаращилась. Охранник посмотрел на нее с любопытством. Он что-то сказал юноше, затем развернулся и ушел, оставив юношу одного.

– Ты меня узнаешь, так ведь, тетя Завиток?

Голос ей изменил. Она попыталась снова – но слова прозвучали странно.

– Малыш Воробушек.

Переводчица открыла глаза.

– Приятный господин, что есть – то есть. Но, товарищ Завиток, птичка-то успела подрасти.

Теперь он стоял прямо перед ними. Отложив куртку и подбивку, Завиток поднялась на ноги. Ей пришлось опереться на плечо Переводчицы, чтобы не упасть.

– Воробушек, – сказала она. – Как странно тебя видеть. Это... – она потрясла головой, чтобы прочистить мысли. – Это моя подруга, госпожа Достоевская.

– Приятно познакомиться с вами, товарищ!

– Не то слово! Ну, подойдите ближе и дайте нам на вас посмотреть...

Завиток хотела было его успокоить, но все подворачивавшиеся ей слова казались слишком легкими, слишком воздушными.

Высокий купол воздуха поглощал их голоса.

– Как ты сюда добрался? На мили вокруг никакого транспорта.

– Поездом и автобусом. От Ланьчжоу меня подвезли на повозке с осликом. За последние два дня мы ни души не видели.

Мальчик, хотя мальчиком он больше не был, казался потрясенным. Это из-за нее, вдруг осознала Завиток. Ее, должно быть, не узнать, и ее внешность его расстроила. Она устыдилась, хотя понимала, что это не имеет ничего общего с позором, что дело лишь во времени и обстоятельствах – и она бессильна их изменить. Она была тронута, что он так легко отозвался о внушительном пути, который проделал от Шанхая – как минимум пять полных дней в дороге.

Воробушек принялся распаковывать блоки сигарет, печенье, рис, сушеную рыбу, соль, овощные пресервы и коробку за коробкой сорговых жевательных конфет.

Изобилие так пугало, что Переводчица тихонько выругалась. Она отстранилась.

– Так это, выходит, племянник? Композитор, которому судьбой предназначено стать Бетховеном с берегов Хуанпу? А вы уверены, что он именно этим занимается?

Возможно, из стеснения, а может, и от паники Воробушек попытался окутать их словами. Он рассказал, что все живы-здоровы, что у Чжу Ли дела идут отлично. Он рассказал, что пишет музыку, что их странствия по Китаю во время войны, чайные и слепые музыканты вдохновили его Симфонию № 2... Он размышлял о свойствах солнечного света, а именно, как это дневной свет стирает звезды и планеты и делает их невидимыми человеческому глазу. Если, чтобы видеть небеса, потребна тьма, может ли свет быть формой слепоты? Может ли звук также быть формой глухоты? А если да, то что такое молчание?

В глазах у него стояли слезы – возможно, из-за сухого высокогорного воздуха. Они с Переводчицей глазели на него как на видение. К их изумлению, он вынул из сумки книгу – классический роман “Дождь на горе Ба”.

– Чжу Ли попросила меня привезти тебе это – ее любимую книгу.

Завиток в растерянности взяла книгу в руки.

– Но как Чжу Ли это читает?

– Ей уже одиннадцать, – сказал Воробушек, словно сам растерявшись.



С бесполезно повисшим в руках пустым рюкзаком он казался одиноким и заброшенным. Он хотел бы и дальше вынимать вещь за вещь, подумала она, словно мог засеять пустыню цветами.

Переводчица зажгла им всем по сигарете, и довольно долго они просто сидели в задумчивом молчании и курили. Завиток старалась увидеть небо, бараки и комендатуру лагеря глазами Воробушка, но у нее получалось лишь глядеть на него, будто во сне, и следить за дымом, что вился у него из-под пальцев.

– Мама подает прошения, чтобы твой приговор отменили, – сказал он. – Она запросила разрешение тебя посетить и должна в течение месяца суметь приехать. Папаша Лютя говорит, что в Биньпай тебе возвращаться нельзя, будешь жить в Шанхае, с нами. Чжу Ли очень одаренная скрипачка, она все время репетирует, Консерватория на все пойдет, чтобы ее удержать.

– Но, Воробушек...

– Родители продолжают искать дядю Вэня. Я уверен, что скоро мы получим о нем вести.

– Воробушек, – сказала Завиток, впервые взяв его за руку. Она постаралась, чтобы ее голос звучал твердо. – Ты должен сказать Большой Матушке, что, когда ты меня нашел, единственным, из-за чего я печалилась, была разлука с семьей, мужем и дочерью. И больше ничего. Никаких страданий. Ты должен поблагодарить их от меня. Должен сказать Чжу Ли, что мне хорошо живется, партия меня перевоспитывает и я успешно исправлю свои ошибки. Убедись, что она думает только о своем будущем. Нельзя ее тревожить.

– Конечно, тетя.

Воробушек вдруг вспомнил, что у него в кармане что-то лежит. Он вынул фотографию Чжу Ли со скрипкой и вручил ее Завитку. Та больше четырех лет не видела лица дочери. Она смотрела на карточку, словно в незнакомый мир.

– Как там в этом знаменитом стихотворении было? – сказала Переводчица. – *Судьбой тебе назначено вернуться / в вихрящейся пыли, неудержимо / поднявшись как туманы на реке.* Ваша дочь на вас похожа. Завиток, моя дорогая, у нее ваше лицо.

Почему я плачу, подумала она, дрожа. Я должна быть вне себя от радости. Дочь казалась ей потерянной навсегда, и все же – вот она была тут, так близко и так рядом. Возможно, и муж ее существовал так же, все еще объявленный изменником и врагом, и все же их судьбы слились воедино давным-давно.

В тот же день Завиток ждала в лагерной комендатуре рядом с Воробушком, укрывшись под дверью от палящего солнца. Прибыл масловоз, племянник вскарабкался в кузов и, словно это было легко и просто, покинул “Ферму 835”. Он крепко держался за одну из цистерн, глядя назад, на нараставшее между ними расстояние, и она понимала, что он хотел что-то сказать – но не мог. Она попыталась представить себе, как он уезжает: комендатура уменьшается, а затем появляются и исчезают и остальные здания, пока Воробушек не доберется до железной дороги, бесконечных поездов и лиц в окнах. Земля напивалась солнечным светом. Она знала, что однажды, уже скоро, без предупреждения, с нее снимут обвинения. Как большинству прочих выживших контрреволюционеров, ей сообщат, после многих лет каторжного труда, что она никогда и не была преступницей. Заплачет ли она? Обрадуется ли? Ей следует быть благодарной за возможность вернуться к жизни. Но даже когда Завиток представляла себе Шанхай, ей было страшно, что лишь бескрайняя пустыня и небо ее признают, что они будут видны все четче и четче – и будут простираться вечно.

## 5

Весь тот день, когда Ай Мин и мама уехали, я просидела у окна, читая мамин экземпляр “Дэвида Копперфильда”. Вновь и вновь я возвращалась к первым строчкам: “Стану ли я героем



повествования о своей собственной жизни, или это место займет кто-нибудь другой – должны показать последующие страницы”<sup>2</sup>.

Около семи вечера мама наконец вернулась домой. Я смотрела, как она идет по внутреннему двору и поднимается по лестнице, двигаясь медленно, точно ступеньки незаметно стали более крутыми. Ее пальто, нежно-зеленого, как летний листик, цвета, было мне так знакомо – ведь она носила его еще до того, как я появилась на свет. Я следила, как оно поднимается по лестничному пролету, словно против течения времени. Увидев меня за стеклом, мама улыбнулась и зашагала быстрее. Она несла в руках гостинец – маленькую белую коробочку из кондитерской.

Я побежала к двери и открыла, потянув маму внутрь.

Я приготовила на ужин рис с огурцами и вареными яйцами; пока мы ели, мама заполняла молчание подробным описанием того, как прошел день. Пограничник, зевая, помахал им вслед. На окраинах Сиэтла они попали в утреннюю пробку. Они остановились поесть гамбургеров. Ай Мин купила мой любимый бисквит и передала мне его домой с мамой в белой кондитерской коробочке. Мама подождала, пока Ай Мин сядет на “Грейхаунд”, и смотрела, как автобус трогается с места и исчезает.

После ужина мама позвонила в Шанхай и больше часа проговорила с матерью Ай Мин. Я сидела рядом с ней на диване – достаточно близко, чтобы укататься в ее голос.

Той ночью, лежа в кровати, я изо всех сил сосредоточилась, надеясь, что, если буду вслушиваться достаточно, то смогу услышать отцовский голос. По потолку скользили свет и тени – то тут, то уже канули, – и, пока я думала о том, почему же папа покинул этот мир, меня захлестнула печаль. И все же за окнами шумел ветер, а в соседней комнате все еще дышала, и ворочалась, и гредила мама. Мне хотелось пойти к ней, хотелось найти способ ее защитить. Ай Мин оставила мне письмо, и я снова за него взялась:

Мы тайно доверили друг другу в тихом полночном мире / Что желаем  
летать в поднебесье, две птицы, крыло к крылу, / И расти вместе на земле, две  
ветви одного дерева. / Земля пребудет, небеса пребудут, хоть обоим и настанет  
конец.

Ай Мин связывала нас – моего отца с ее, мою мать с ее. Пока мы не убедились, что она в безопасности, как было нам ее отпустить? Тогда мне казалось, что этому никогда не бывать.

– Осенью шестьдесят пятого, – сказала я окнам, комнате, папиной фотографии на столе, – накануне двадцать четвертого дня рождения Воробушка, ночью пришел молодой человек в слишком большом для его костлявого тельца пальто.

\* \* \*

Все домочадцы – Папаша Лютня, Большая Матушка и оба мальчика, Чжу Ли и Завиток (только что вышедшая на свободу, за несколько дней до своей подруги Переводчицы) – крепко спали, но Воробушек еще писал. Снаружи в переулке появилась тень. Работая над своей Симфонией № 3, он слышал скрип шагов – туда-сюда, кругом и обратно. Шум вползал к нему в музыку: низкий фагот, сбивавший всю басовую линию, вот он тут – а вот уже канул.

Воробушек в раздражении отложил карандаш. Он взял фонарь, спустился по лестнице и вышел во двор, прислушиваясь: ни звука. Он распахнул заднюю калитку.

Незнакомец вскрикнул, и оба отшатнулись друг от друга.

Воробушек, растерявшись, потряс фонарем.

– Говорите, товарищ! – сказал он так грубо, как только мог. – Чем я могу вам помочь?

---

<sup>2</sup> Перевод А. Кривцовой и Е. Ланна.



Сперва ему ответил лишь ветер. А затем незнакомец произнес, не громче вздоха:

– Я ищу Юного Воробушка.

Он был очень худенький, очень маленький, и уж конечно, бояться его не стоило, но все же фонарь в руке Воробушка дрожал.

– Юного Воробушка? А от него вам чего надо?

В руке незнакомца появился мятый конверт. Даже в слабом свете Воробушек тут же узнал почерк. То была та самая каллиграфия, на которую он глядел с подростковых лет: квадратная, но полная старания, повествовавшая о Да Вэе и Четвертом Мая. Незнакомец жалобно вздрогнул и отдернул руку. Он нервничал – но не самодовольно, дергано, как нервничал бы шпион или тюремщик. Скорее юноша был будто бы в ужасе от того, какой широкий этот проулок.

– Я он. В смысле, я Воробушек. Товарищ, что вам нужно?

Незнакомец покачал головой.

– Это мне письмо?

– У меня, как бы вы сказали... новости.

– Входите, быстрее.

Незнакомец покачал головой. Воробушек вынужден был сдержаться, чтобы не затащить его в дом силой.

– Вы уже ели? Пойдемте. Никто вас не обидит.

Юноша смотрел мимо него. Тени не были к нему добры; все в нем казалось истощенным и истерзанным.

– Я не стану входить, – тихо произнес он, словно советуясь сам с собой. – Нет, нет. Не стану! Определенно, совершенно точно не стану.

Воробушек полез в карман. Прошлым вечером чиновник из Центральной инспекционной комиссии по дисциплине заплатил ему двадцать юаней за частные уроки – чиновник желал разучить “Лунную сонату” Бетховена – и все еще был немало должен.

– Товарищ, если вы не можете остаться и разделить со мной трапезу, прошу, примите этот скромный, ни к чему не обязывающий подарок.

Он собирался достать только одну банкноту, но показались все четыре.

Юноша заморгал, потрясенный.

Воробушек заколебался. Затем, твердо, как мог бы сделать его отец, он вынул из рук незнакомца письмо и вложил вместо него деньги. Теперь, расставаясь с ними, Воробушек испытывал укол растерянности и сожаления; у него не осталось ни монетки. И все же он не отвел взгляд от молодого человека.

– Примите эти деньги или входите.

Незнакомец разжал ладонь и уставился на чудесные банкноты.

– Я бы ничего не взял у семьи брата Вэня, – прошептал он. – Но мои обстоятельства... что ж, они очевидны, разве нет?

Он посмотрел Воробушку в глаза, и стало ясно, что незнакомцу не больше одиннадцати-двенадцати лет. Ребенок.

И затем паренек, его плачевное состояние и деньги Воробушка исчезли в переулке. Если бы не конверт в руках у Воробушка, можно было бы подумать, что мальчика вообще здесь не было.

Он захлопнул калитку и по собственным следам вернулся через внутренний двор. Сверху, с балкона, он выглянул в ту сторону, в которую убежал мальчик. По небу рябью пошел рассвет, а на Пекинском шоссе, с каждым мгновением удлиняясь, уже росла очередь за пайками, но ребенок давно как в воду канул.

Конверт был адресован не его родителям, не тете Завитку и не Чжу Ли, но “Юному Воробушку”. Он присел с лампой, открыл конверт, вынул оттуда один-единственный листочек бумаги и принялся читать.



На рассвете на балкон вышла Чжу Ли. Она окликнула госпожу Ма, которая ждала своей очереди у колонки, пожелала ей доброго утра, ухмыльнулась Воробушку, забрала его пустую чашку из-под чая и вернула ее полной и дымящейся. Она присела на сломанный стул и осведомилась:

– Любовное письмо?

Он заворчал сквозь зубы.

– Дорогой братец, – прошептала она, – с днем рождения! Пусть в этом году твою захватывающую Симфонию № 3 исполнят в концертном зале перед самим Председателем Мао и нашим верным премьером Чжоу Эньлаем! Перед директором Хэ Лутином и всеми великими музыкантами Шанхайской консерватории! Пусть букеты у ног твоих будут ароматны и изобильны, и пусть солистом на твоём следующем фортепианном концерте будет некий элегантный юноша из Чанша...

– Чжу Ли, если не поторопишься, этот самый юноша из Чанша запишет лучшую репетиционную на себя. Придется тебе играть на скрипке на улице.

– Ты прав! Цзян Кай репетирует больше всех в консерватории. Кроме меня. Но знаешь, – еще тише продолжила она, – рояль в сто третьей аудитории такой *древний*, и пианисты его избегают. А для скрипача там столько места, что это практически вилла, – она ткнула его в колено. – Но *правда*, от кого письмо?

Он перевернул конверт прежде, чем она узнала почерк отца.

– От премьера Чжоу Эньлая, приглашает меня сыграть у него на большом приеме, где...

– Конверт слишком простой.

– Герр Бах, просит меня...

– Конверт слишком новый.

– Соседская бабушка, спрашивает, почему это я сочиняю для дегенеративного фортепиано вместо прославленного гуциня.

Она кивнула.

– Понимаю. Братец, – произнесла она чуть погодя, – я утром нашла пропавший мешок с сушеным горохом. Он был в рукаве маминого пальто.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.